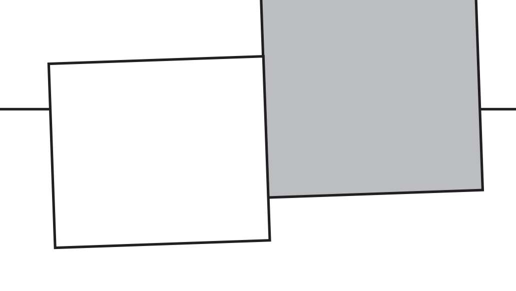
Зигмунд Фрейд



ПСИХИКА: СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

МОСКВА
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
2020

УДК 159.9
ББК 88
Ф86

Фрейд З.
Ф86 Психика: структура и функционирование / Пер. с нем. А.М. Боковиков. — М. : Академический проект, 2020. — 230 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2861-6

В книге представлены статьи З. Фрейда, посвященные одному из ключевых, исходных понятий психологии — структуре и механизмам функционирования человеческой психики. Упорядоченные хронологически, эти работы позволяют проследить логику научного поиска Фрейда, понять, как с годами менялись, обогащаясь новым опытом, его представления о личностной организации. Если в ранних работах он анализирует психическую жизнь исходя из так называемой топографической модели, которая предполагает три уровня психики — сознание, предсознательное и бессознательное (главный объект исследований ученого), то в работах 20-х годов Фрейд вводит в анатомию личности иные, не совпадающие с прежними основные структуры — Я, Оно и Сверх-Я (соответственно Ego, Id и Superego). Эта трехкомпонентная модель, известная как структурная, дала возможность создавать объяснительные конструкции психической жизни не только Фрейду, но и поколениям его последователей.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-8291-2861-6

ПОЛОЖЕНИЯ О ДВУХ ПРИНЦИПАХ ПСИХИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ (1911)

Мы уже давно заметили, что следствием и, стало быть, тенденцией любого невроза является отдаление больного от реальной жизни, отчуждение его от действительности[1]. Подобный факт не мог ускользнуть от наблюдений П. Жане; в качестве особой характеристики невротиков он говорил о потере *«de la fonction du réel»*, не раскрыв, однако, взаимосвязи этого нарушения с основными условиями невроза[2].

Введение понятия «процесс вытеснения» при рассмотрении генеза невроза позволило нам увидеть эту взаимосвязь. Невротик отворачивается от действительности, потому что считает ее — всю целиком или ее части — невыносимой. Крайним типом подобного отвращения от реальности являются особые случаи галлюцинаторного психоза, в которых отрицается то событие, которое повлекло за собой безумие (Гризингер)[3]. Но, собственно говоря, то же самое делает и любой невротик с частицей реальности[4]. Теперь перед нами встает задача — исследовать отношение невротика и человека вообще к реальности с точки зрения его развития и, таким обра-

[1] Эта идея, выраженная термином «бегство в психоз», содержится уже в 3-й части работы Фрейда, посвященной защитным невропсихозам (1894). Сама формулировка «бегство в болезнь» появляется в его труде об истерическом приступе (1909).

[2] Janet (1909).

[3] В. Гризингер (1817–1868) — известный берлинский психиатр старого поколения, которого особенно ценил учитель Фрейда Мейнерт. Этот пассаж Фрейд трижды упоминает в «Толковании сновидений» (1900), а также в 6-й главе своей книги об остроумии (1900). В нем Гризингер обратил внимание на то, что психозы, а также сновидения носят характер исполнения желания.

[4] Необычайно ясное понимание этой причинной связи недавно вскрыл О. Ранк в одном отрывке из Шопенгауэра («Мир как воля и представление»).

зом, включить психологическое значение реального внешнего мира в структуру нашей теории.

В психологии, основанной на психоанализе, мы привыкли брать за исходный пункт бессознательные процессы души, особенности которых нам стали известны в результате анализа. Мы считаем их более старыми, первичными, пережитками фазы развития, в которой они были единственной формой душевных переживаний. Высшую тенденцию, которой подчинены эти первичные процессы, легко выявить; она называется принципом удовольствия/неудовольствия (или кратко — принципом удовольствия)[1]. Эти процессы нацелены на получение удовольствия; от таких актов, которые могут вызвать неудовольствие, психическая деятельность отстраняется (вытеснение). Наши ночные сновидения, наша тенденция в бодрствовании отрешаться от неприятных впечатлений представляют собой остатки господства этого принципа и свидетельствуют о его могуществе.

Я возвращаюсь к идеям, которые я разрабатывал в другом месте (в общем разделе «Толкования сновидений»), предполагая, что состояние психического покоя первоначально было нарушено властными требованиями внутренних потребностей. В этом случае задуманное (желаемое) проявлялось просто галлюцинаторным образом, как это и теперь еженощно случается с нашими мыслями в снах[2]. И только отсутствие ожидаемого удовлетворения, разочарование, привело к отказу от такой попытки удовлетворения галлюцинаторным путем. Вместо этого психический аппарат должен был решиться представить себе реальные условия внешнего мира и стремиться к их реальному изменению. Тем самым был введен новый принцип душевной деятельности; представлялось уже не то, что приятно, а то, что реально, даже если оно было неприятным[3]. Это введение *принципа реальности* оказалось шагом, повлекшим за собой серьезные последствия.

---

[1] По всей видимости, это первый пассаж, где непосредственно вводится термин «принцип удовольствия». В «Толковании сновидений» Фрейд всегда говорит о «принципе неудовольствия».

[2] Состояние сна может вернуть нам подобие душевной жизни до признания реальности, потому что его предпосылкой является намеренное отрицание этой реальности (желание спать).

[3] Я попытаюсь дополнить вышеупомянутое схематическое описание некоторыми рассуждениями. Справедливо будет возразить, что такая

1. Прежде всего из-за новых требований возникла необходимость в ряде адаптивных изменений психического аппарата, которые мы вследствие недостаточности или ненадежности наших знаний можем затронуть лишь вскользь. Возросшее значение внешней реальности повысило и значение обращенных к внешнему миру органов чувств и связанного с ними *сознания*, которое помимо представлявших ранее исключительный интерес качеств удовольствия и неудовольствия научилось воспринимать также качества, относящиеся к органам чувств. Была сформирована особая функция, которая должна была периодически осматривать внешний мир, чтобы его данные были известны заранее, если появится безотлагательная внутренняя потребность; речь идет о *внимании*[1]. Эта деятельность идет навстречу чувственным впечатлениям, вместо того чтобы ожидать их появления. Вероятно, одновременно с этим была сформирована система *хранения*,

---

организация, которая служит принципу удовольствия и пренебрегает реалиями внешнего мира, не смогла бы просуществовать даже короткое время, а значит, вообще не могла бы возникнуть. Мы, однако, вправе использовать такую модель с той оговоркой, что младенец, стоит лишь дать ему материнскую заботу, по сути дела, реализует подобную психическую систему. Вероятно, он галлюцинирует исполнение своих внутренних потребностей, при возрастающем раздражении и отсутствии удовлетворения выражает неудовольствие посредством моторного отвода в виде крика и трепыханья и испытывает вслед за этим галлюцинаторное удовлетворение. Позднее, в детском возрасте, он научается намеренно использовать эти моторные проявления как средство выражения. Поскольку уход за младенцем служит прототипом последующего воспитания детей, господство принципа удовольствия может окончиться, собственно говоря, только с полным психическим отделением от родителей. Прекрасный пример закрытой от раздражений внешнего мира психической системы, которая способна сама аутистически (в терминах Блейлера [1912]) удовлетворять свои потребности в пище, представляет собой птенец, заключенный вместе с запасом корма в скорлупу, забота матери о котором ограничивается лишь согреванием. Я сочту это не как поправку, а как расширение рассматриваемой схемы, если для системы, живущей по принципу удовольствия, потребуются приспособления, с помощью которых она сможет избежать раздражителей реального мира. Эти приспособления — лишь коррелят «вытеснения», которое обходится с внутренними неприятными раздражителями так, как если бы они были внешними, то есть относит их к внешнему миру.

[1] Некоторые замечания относительно представлений Фрейда о внимании можно найти в примечании издателей к работе «Бессознательное» (1915).

которая должна была депонировать результаты этой периодической деятельности сознания, — часть того, что мы называем *памятью*.

Вместо вытеснения, исключавшего из катексиса часть возникающих представлений как порождающих неудовольствие, появилось *суждение*[1], которое должно было решить, верно или ошибочно определенное представление, то есть соответствует оно реальности или нет, и определяло это путем сравнения со следами воспоминаний о реальности.

Моторный отвод, который в период господства принципа удовольствия служил для разгрузки душевного аппарата от усиливающегося возбуждения и выполнял эту задачу посредством направляемых внутрь тела иннерваций (мимики, выражений аффекта), теперь приобрел новую функцию, поскольку он стал использоваться для целесообразного изменения реальности. Он превратился в *действие*[2].

Ставшая необходимой задержка моторного отвода (действия) была обеспечена *процессом мышления,* постепенно возникшим из представления. Мышление было наделено качествами, которые позволяли душевному аппарату переносить повышенное возбуждение при отсрочке отвода. По существу, это — пробное действие со смещением небольших количеств катексиса при незначительном их расходовании (отводе)[3]. Для этого понадобился перевод свободно перемещаемых катексисов в связанные, и он был достигнут благодаря повышению уровня всего процесса катексиса. Первоначально мышление, по всей видимости, было бессознательным, поскольку оно поднялось над простым представлением и обратилось к отношениям между впечатлениями от объектов, и получило другие качества, воспринимаемые сознанием, только в результате соединения с остатками слов[4].

---

[1] Эту часто повторяемую Фрейдом мысль можно найти уже в первом издании его книги об остроумии (1905), более подробно она обсуждается в его поздней работе под названием «Отрицание» (1925). См. также статью «Бессознательное» (1915).

[2] Ср. «Проект» (1950), 1-я часть, XI раздел («Переживание удовлетворения»).

[3] Ср. «Остроумие» (1905), «Толкование сновидений» (1900) и «Отрицание» (1925), где даются дальнейшие разъяснения.

[4] Ср. «Проект» (1950), 3-я часть, I раздел и «Толкование сновидений» (1900). Эта тема получает развитие в VII разделе статьи «Бессознательное» (1915).

2. Общая тенденция нашего душевного аппарата, которую можно свести к экономическому принципу сбережения затрат[1], по-видимому, проявляется в упорной фиксации на доступных источниках удовольствия и в трудности отказа от них. С введением принципа реальности выделилась форма мыслительной деятельности, которая избавлена от проверки реальности и осталась подчинена только принципу удовольствия[2]. Речь идет о *фантазировании*, которое начинается еще с детских игр, а позднее, продолжаясь в виде *дневных грез*, отказывается от опоры на реальные объекты.

3. Замена принципа удовольствия принципом реальности со всеми вытекающими психическими последствиями, схематически представленная в одном тезисе, в действительности происходит не сразу и не одновременно по всей линии. Но если это развитие происходит с влечениями Я, то сексуальные влечения в значительной степени от них отделяются. Вначале сексуальные влечения ведут себя аутоэротично, они находят удовлетворение в собственном теле и поэтому не попадают в ситуацию отказа, к которому вынуждает введение принципа реальности. Когда затем у них начинается процесс нахождения объекта, он вскоре на долгое время прерывается из-за наступления латентного периода, замедляющего половое развитие вплоть до пубертата. Два этих момента — аутоэротизм и латентный период — приводят к тому, что сексуальное влечение задерживается в своем психическом развитии и гораздо дольше остается во власти принципа удовольствия, от которой у многих людей оно так вообще никогда и не освобождается. При таких условиях устанавливается более тесная связь между сексуальным влечением и фантазией, с одной стороны, а также влечениями Я и деятельностью сознания — с другой. Эта взаимосвязь и у здоровых людей, и у невротиков оказывается очень тесной, хотя и предстает, если основываться на этих рассуж-

[1] То есть сбережения затрат энергии.

[2] Подобно тому как нация, богатство которой основано на разработке полезных ископаемых, тем не менее оставляет в запасе определенную область, которая должна оставаться в первобытном состоянии и не подвергаться изменениям под влиянием культуры (Йеллоустонский национальный парк). Ср. обсуждение фантазирования в работах «Поэт и фантазирование» (1908) и «Истерические фантазии и их отношение к бисексуальности» (1908). По всей видимости, термин «проверка реальностью» впервые появляется в этом пассаже.

дениях из генетической психологии, как *вторичная*. Продолжающий оказывать свое влияние аутоэротизм обеспечивает возможность столь длительного сохранения более простого, мгновенного и воображаемого удовлетворения сексуальным объектом вместо реального удовлетворения, предполагающего затрату сил и отсрочку. Вытеснение остается всемогущим в царстве фантазии; оно способно затормозить представления *in statu nascendi*[1] прежде, чем они смогут проявиться в сознании, если их катексис может дать повод к возникновению неудовольствия. Это и есть слабое место нашей психической организации, которое может быть использовано для того, чтобы мыслительные процессы, уже ставшие рациональными, вновь оказались во власти принципа удовольствия. Соответственно, психическое предрасположение к неврозу в значительной степени определяется запоздалым приучением сексуального влечения к учету реальности и, кроме того, теми условиями, которые приводят к такому запаздыванию.

4. Подобно тому, как наслаждающееся Я не может ничего, кроме как *желать*, работать над получением удовольствия и избегать неудовольствия, точно так же реальное Я не может ничего, кроме как стремиться к пользе и уберегать себя от вреда[2]. На самом деле замена принципа удовольствия принципом реальности означает не исключение принципа удовольствия, а лишь его обеспечение. Моментальное, но небезопасное по своим последствиям удовольствие устраняется, но только для того, чтобы новым способом получить отсроченное, но надежное. И все же эндопсихическое воздействие от этой замены было настолько сильно, что нашло свое отражение в особом религиозном мифе. Учение о награде на том свете за — добровольный или вынужденный — отказ от земных радостей есть не что иное, как мифическая проекция этого

---

[1] В состоянии становления (*лат.*). — *Примечание переводчика.*

[2] Преимущество Я-реальности перед наслаждающимся Я Бернард Шоу метко выражает словами: «*To be able to choose the line of greatest advantage instead of yielding in the direction of least resistance*»: [Быть способным выбрать линию наибольшей выгоды, а не отступать в направлении наименьшего сопротивления»] (*Man and Superman; A Comedy and a Philosophy*). [Так говорит Дон Жуан в конце «Интермедии в преисподней» (по Моцарту) в 3-м акте. — Намного более подробное описание отношений между «наслаждающимся Я» и «реальным Я» содержится в работе «Влечения и их судьбы» (1915)].

психического переворота. *Религии,* последовательно отстаивая этот образец, сумели добиться полного отказа от удовольствия в жизни, посулив возмещение в будущем; но таким путем преодолеть принцип удовольствия они не смогли. Лучше всего это преодоление удается *науке,* которая, однако, также доставляет интеллектуальное удовольствие во время работы и обещает конечную практическую выгоду.

5. *Воспитание* в целом можно определить как побуждение к преодолению принципа удовольствия и к замещению его принципом реальности; то есть оно пытается помочь процессу развития, затрагивающему Я, пользуясь в этих целях любовью и поощрениями со стороны воспитателей, и поэтому терпит фиаско, если избалованный ребенок считает, что он и так пользуется этой любовью и не может ее потерять ни при каких обстоятельствах.

6. *Искусство* своеобразно достигает примирения обоих принципов. Художник — это прежде всего человек, который отвращается от реальности, поскольку он не может смириться с требуемым ею отказом от удовлетворения влечений и удовлетворяет свои эротические и честолюбивые желания в воображаемой жизни. Но он находит обратный путь из этого мира фантазий в реальность, благодаря особым талантам преобразуя свои фантазии в новые формы действительности, которые получают признание у людей как ценное отображение реальности. Таким образом, он в известной мере действительно становится героем, королем, творцом, любимцем, которым ему хотелось стать, не совершая обходного пути через действительное изменение внешнего мира. Он может достичь этого лишь потому, что другие люди точно так же ощущают неудовлетворенность из-за реально необходимого отказа, как и он сам, а эта неудовлетворенность, возникающая при замене принципа удовольствия принципом реальности, сама является частью реальности[1].

7. По мере того как Я из *наслаждающегося Я* превращается в *реальное Я,* сексуальные влечения претерпевают те изменения, которые ведут от первоначального аутоэротизма через различные промежуточные фазы к объектной любви,

[1] Ср. аналогичную мысль у О. Ранка (1907). См. также работу «Поэт и фантазирование» (1908), а также заключительный абзац 23-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917).

служащей функции размножения. Если верно, что каждая ступень двух этих путей развития может стать исходной точкой диспозиции к последующему невротическому заболеванию, то напрашивается мысль связать выбор формы последующего заболевания *(выбор невроза)* с тем, в какой фазе развития Я и либидо произошла предрасполагающая задержка в развитии. Таким образом, пока еще не изученные временные особенности обоих процессов развития и их возможное смещение по отношению друг к другу приобретают неожиданное значение[1].

8. Самая удивительная особенность бессознательных (вытесненных) процессов, к которой каждый исследователь привыкает только путем преодоления себя самого, проистекает из того, что для них проверка реальностью ничего не значит, реальность мыслей приравнивается к внешней действительности, желание — к исполнению, событию, как это непосредственно проистекает из господства старого принципа удовольствия. Поэтому так трудно отличить бессознательные фантазии от воспоминаний, ставших бессознательными[2]. Но ни в коем случае нельзя поддаваться соблазну вносить оценку из реального мира в вытесненные психические образования и, например, недооценивать роль фантазий в симптомообразовании из-за того, что они не представляют собой действительности, или выводить невротическое чувство вины из чего-то другого, поскольку не удается выявить действительно совершенного преступления. Надлежит пользоваться той валютой, которая преобладает в исследуемой стране, в нашем случае — *невротической валютой*. Попытаемся, например, истолковать следующий сон. Один мужчина, который когда-то ухаживал за отцом, долго и мучительно умиравшим от неизлечимой болезни, рассказывает, что в течение нескольких месяцев после кончины отца неоднократно видел следующий сон: *«Отец снова жив и говорит с ним, как обычно. Но при этом он очень болезненно ощущал, что отец все же был мертв и просто об этом не знал»*. Ни один другой путь не ведет к пониманию кажущегося абсурдным сновидения, кроме добавления слов «по его желанию» или «вслед-

[1] Фрейд разрабатывает эту тему в работе «Диспозиция к неврозу навязчивости» (1913).

[2] Эта трудность подробно обсуждается во второй части 23-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917).

ствие его желания» после фразы «что отец все же был мертв» и дополнения «что он [сновидец] желал этого» к последним словам. В таком случае мысль сновидения означает: ему неприятно вспоминать, что ему приходилось желать отцу смерти (как избавления), когда тот был еще жив, и как было бы ужасно, если бы отец догадался об этом. Речь идет об известном случае самообвинений после потери любимого человека, и в этом примере упрек связан с инфантильным значением желания смерти отцу[1].

Недостатки этой небольшой, скорее предварительной, нежели законченной, статьи, простительны, пожалуй, лишь в малой степени, если я объявлю их неизбежными. В нескольких тезисах о психических последствиях приспособления к принципу реальности я был вынужден обозначить идеи, которые я предпочел бы пока не высказывать и обоснование которых, несомненно, будет стоить немалых усилий. И все же я буду надеяться, что от благосклонно настроенного читателя не ускользнет, где также и в данной работе начинает властвовать принцип реальности.

[1] Это сновидение Фрейд включил в 3-е издание «Толкования сновидений», вышедшее в 1911 году.

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ (1915)

Из психоанализа мы узнали, что сущность процесса вытеснения состоит не в том, чтобы устранить, уничтожить представление, репрезентирующее влечение, а в том, чтобы удержать его от осознания. В таком случае мы говорим, что оно находится в состоянии «бессознательного», и можем привести веские доказательства того, что, даже будучи бессознательным, оно может оказывать воздействие, причем и такое, которое в конце концов достигает сознания. Все вытесненное должно оставаться бессознательным, но мы хотим уже с самого начала констатировать, что вытесненное не охватывает всего бессознательного. Бессознательное имеет более широкий объем; вытесненное — это часть бессознательного.

Каким образом мы можем прийти к пониманию бессознательного? Разумеется, мы знаем его лишь как сознательное, после того как оно подверглось превращению или переводу в сознательное. Психоаналитическая работа ежедневно позволяет нам убедиться в том, что такой перевод возможен. Для этого необходимо, чтобы анализируемый преодолел известные сопротивления, а именно те, которые в свое время путем удаления из сознания сделали его вытесненным.

1. ОБОСНОВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Многие оспаривают наше право допустить бессознательное психическое и научно работать с этой гипотезой. Мы же можем привести против этого аргументы, что гипотеза о бессознательном *необходима* и *легитимна* и что мы располагаем многочисленными *доказательствами* существования бессознательного. Она необходима, поскольку в данных сознания очень много пробелов; и у здорового человека, и у больного часто бывают психические акты, объяснить которые можно лишь через другие акты, свидетелем которых сознание, однако, не является. Сюда относятся не только ошибочные дей-

ствия и сновидения здорового человека или все, что называется психическими симптомами и навязчивыми явлениями у больного, — мы из личного повседневного опыта знаем, что бывают невесть откуда взявшиеся мысли, а результаты раздумий порой приходят скрытыми от нас путями. Все эти сознательные акты остались бы бессвязными и непонятными, если бы мы считали, что все данное нам в душевных актах должно быть пережито сознанием, и упорядочиваются в цепь очевидных взаимосвязей, если мы прибегнем к интерполяции выведенных бессознательных актов. Однако установление смысла и связи — вполне законный мотив, который может вывести нас за рамки непосредственного опыта. Но если при этом еще оказывается, что, основываясь на гипотезе о бессознательном, нам удается успешно и целесообразно влиять на течение сознательных процессов, то в этом успехе мы получаем неопровержимое доказательство существования того, что нами предполагалось. В таком случае необходимо принять ту точку зрения, что требовать, чтобы все происходящее в душевной сфере было известно также и сознанию, есть не что иное, как *безосновательное самомнение*.

Можно пойти еще дальше и привести в доказательство существования бессознательного психического состояния следующий факт: в любой момент сознание охватывает лишь малую часть содержания, а потому большая часть того, что мы называем сознательным знанием, и без того в течение самого длительного времени должна находиться в состоянии латентности, то есть психической бессознательности. Если принять во внимание все наши латентные воспоминания, возражение против бессознательного становится совершенно непонятным. Далее, мы сталкиваемся с возражением, что эти латентные воспоминания уже нельзя называть психическими, что они соответствуют остаткам соматических процессов, из которых снова может возникнуть психическое. На это напрашивается ответ, что латентное воспоминание, напротив, представляет собой несомненный остаток психического процесса. Но еще важнее уяснить себе, что это возражение основывается на невысказанном, но с самого начала фиксированном отождествлении сознательного с психическим. Это отождествление является либо *petitio principii*[1], не допускающим вопроса о

[1] Предвосхищение основания, вывод из недоказанного (разновидность логической ошибки) (*лат.*). — *Примечание переводчика.*

том, должно ли все психическое быть также сознательным, либо делом условности, терминологии. В последнем случае оно, как и любая условность, неопровержимо. Только остается открытым вопрос, настолько ли оно целесообразно, что к нему необходимо присоединяться. Можно ответить, что общепринятое отождествление психического с сознательным совершенно нецелесообразно. Оно разрывает психическую непрерывность, ввергает нас в неразрешимые трудности психофизического параллелизма[1], его можно упрекнуть в безосновательной переоценке роли сознания, и заставляет нас преждевременно покинуть область психологического исследования, не давая никакой компенсации из других областей.

И все же ясно, что вопрос о том, следует ли понимать неопровержимые латентные состояния душевной жизни как бессознательные психические или как физические, грозит вылиться в словесный спор. Поэтому имеет смысл на первый план выдвинуть то, что нам точно известно о природе этих спорных состояний. В таком случае по своим физическим характеристикам они нам совершенно недоступны; никакое физиологическое представление, никакой химический процесс не может дать нам понятия об их сущности. С другой стороны, у них, несомненно, есть множество точек соприкосновения с сознательными душевными процессами; проведя определенную работу, их можно превратить в сознательные, заменить ими, и их можно описать с помощью всех тех категорий, которые мы применяем к сознательным актам психики: к представлениям, стремлениям, решениям и т. п. Более того, о некоторых этих латентных состояниях мы должны сказать, что они отличаются от сознательных только отсутствием сознания. Поэтому без колебаний мы будем подходить к ним как объектам психологического исследования и рассматривать их в самой тесной взаимосвязи с сознательными душевными актами.

Упорное отрицание психического характера латентных душевных актов объясняется тем, что большинство обсуждаемых феноменов не стало предметом исследования вне психоанализа. Тому, кто не знает патологических фактов, считает ошибочные действия нормальных людей случайностями и

[1] Очевидно, Фрейд сам некоторое время был склонен принимать эту теорию, на что, похоже, указывает отрывок в его книге об афазии (1891).

довольствуется старой мудростью, что мечты призрачны, остается только пренебречь некоторыми загадками психологии сознания, чтобы оставить в стороне гипотезу о существовании бессознательной психической деятельности. Впрочем, гипнотические эксперименты, особенно постгипнотическое внушение, наглядно доказали наличие и продемонстрировали образ действия психического бессознательного еще до появления психоанализа[1].

Вместе с тем гипотеза о бессознательном вполне *легитимна*, поскольку, выдвигая ее, мы ни на шаг не отступили от своего обычного, считающегося корректным образа мыслей. Каждому из нас сознание передает знание только о собственных душевных состояниях; то, что и другой человек обладает сознанием, является выводом *per analogiam*[2], который делается на основе воспринимаемых высказываний и поступков другого, чтобы понять это его поведение. (Психологически правильнее, пожалуй, сказать, что мы без особых рассуждений приписываем любому другому человеку нашу собственную конституцию, следовательно, и наше сознание, и что эта идентификация является предпосылкой нашего понимания.) Этот вывод — или эта идентификация — когда-то распространился от Я на других людей, животных, растения, неживую природу и на мир в целом и оказывался пригодным, пока сходство с индивидуальным Я было необычайно велико; но по мере того, как остальное отдалялось от Я, этот вывод становился все более ненадежным. Наша современная критика уже сомневается в наличии сознания у животных, отказывает в сознании растениям, а гипотезу о наличии сознания у неживого относит к мистике. Но и там, где первоначальная склонность к идентификации выдержала критическую проверку — у близкого нам другого человека, — гипотеза о наличии сознания основывается на выводе и не может разделить непосредственную уверенность нашего собственного сознания.

Психоанализ требует только, чтобы этот же метод умозаключения применялся и к собственной персоне, конститу-

[1] В своем самом последнем обсуждении этой темы в оставшейся незавершенной работе «Некоторые элементарные уроки психоанализа» (1940) Фрейд приводит доказательный материал, полученный в экспериментах по постгипнотическому внушению.

[2] По аналогии (*лат.*). — *Примечание переводчика.*

циональной склонности к чему, однако, не существует. При таком подходе придется сказать, что все акты и проявления, которые *я* замечаю у себя, но не могу связать с остальной своей психической жизнью, должны расцениваться так, как если бы они принадлежали другому человеку, и должны найти объяснение через приписываемую ему душевную жизнь. Опыт также показывает, что те же самые акты, которые у самого человека не находят психического признания, он хорошо умеет истолковать, то есть ввести в общую душевную взаимосвязь, у других людей. Наше исследование, очевидно, из-за особого препятствия отвлекается здесь от собственной персоны и ощущает помехи ее действительному познанию.

Этот метод умозаключения, примененный, несмотря на внутреннее сопротивление, к собственной персоне, ведет здесь не к открытию бессознательного, а правильнее сказать, к предположению о наличии другого, второго, сознания, которое объединено у меня с известным мне сознанием. Однако здесь критика находит оправданный повод для некоторых возражений. Во-первых, сознание, о котором самому носителю ничего не известно, все же представляет собой нечто иное, чем чужое сознание, и возникает вопрос, заслуживает ли вообще обсуждения такого рода сознание, лишенное важнейшей характеристики. Тот, кто противился гипотезе о наличии бессознательной психики, не сможет удовлетвориться заменой ее на *бессознательное сознание*. Во-вторых, анализ указывает на то, что отдельные латентные душевные процессы, о которых мы делаем вывод, в значительной степени независимы друг от друга, словно между ними нет никакой связи и они ничего друг о друге не знают. Поэтому мы должны быть готовы допустить наличие у нас не только второго сознания, но и третьего, четвертого, возможно, бесконечного ряда состояний сознания, которые неизвестны ни нам, ни друг другу. В-третьих, в качестве самого веского аргумента добавляется следующее: благодаря аналитическому исследованию нам известно, что часть этих латентных процессов обладает характеристиками и особенностями, которые кажутся нам чуждыми, даже невероятными, и которые явно противоречат известным нам свойствам сознания. Поэтому у нас есть основание изменить вывод, относящийся к собственной персоне, в том смысле, что он доказывает не наличие у нас второго сознания, а существо-

вание психических актов, лишенных сознания. Мы можем также отвергнуть термин «подсознательное» как некорректный и вводящий в заблуждение[1]. Известные случаи *«double conscience»* (расщепления сознания) отнюдь не противоречат нашему мнению. Их можно точнее всего описать как случаи расщепления душевной деятельности на две группы, при этом одно и то же сознание поочередно обращается то к одному, то к другому лагерю.

В психоанализе нам не остается ничего другого, как объявить душевные процессы сами по себе бессознательными и сравнить восприятие их сознанием с восприятием органами чувств внешнего мира[2]. Из такого сравнения мы даже надеемся извлечь пользу для наших научных выводов. Психоаналитическая гипотеза о наличии бессознательной душевной деятельности кажется нам, с одной стороны, дальнейшим развитием примитивного анимизма, который повсюду демонстрировал нам подобия нашего сознания, а с другой стороны — продолжением предпринятой Кантом корректировки понимания нами восприятия внешнего мира. Подобно тому, как Кант предостерегал нас, что нельзя не учитывать субъективную обусловленность нашего восприятия и считать наше восприятие идентичным тому, что воспринимается и не распознается, точно так же психоанализ предупреждает нас, что восприятие с помощью сознания нельзя ставить на место бессознательного психического процесса, являющегося его объектом. Как физическое, так и психическое необязательно в действительности будет таким, каким оно нам кажется. Но мы с удовлетворением готовы узнать, что корректировка внутреннего восприятия не представляет такой большой трудности, как корректировка внешнего, что внутренний объект менее нераспознаваем, нежели внешний мир.

---

[1] В некоторых своих самых ранних сочинениях Фрейд сам использовал термин *«subconscient»*, то есть «подсознательное», например, в написанной по-французски работе, посвященной истерическим параличам (1983), в «Этюдах об истерии» (1895). Но уже в «Толковании сновидений» (1900) он возражал против употребления этого термина. В 19-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917) он еще раз затрагивает эту тему; несколько подробнее он обсуждает ее в конце главы 1 «Вопроса о дилетантском анализе» (1926).

[2] Подробное обсуждение этой идеи содержится уже в главе 7 раздела E «Толкования сновидений» (1900), *Studienausgabe*, т. 2, с. 583–585.

2. МНОГОЗНАЧНОСТЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ТОПИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Прежде чем продолжить, констатируем важный, но вместе с тем создающий для нас затруднения факт, что бессознательность — это только признак психического, но этого отнюдь не достаточно для его характеристики. Существуют психические акты самого разного достоинства, которые все же совпадают по такому качеству, как бессознательность. Бессознательное, с одной стороны, включает в себя акты, которые просто являются латентными, некоторое время бессознательными, но которые в остальном ничем не отличаются от сознательных, а с другой стороны — процессы, например вытесненные, которые, будь они осознанными, должны были бы самым решительным образом отличаться от остальных сознательных процессов. Если бы отныне при описании разнообразных психических актов мы полностью абстрагировались от того, сознательные они или бессознательные, и просто классифицировали их и соотносили друг с другом в зависимости от их отношения к влечениям и целям, их содержания и принадлежности к одной из расположенных друг над другом психических систем, то этим был бы положен конец всяким недоразумениям. Но это невозможно сделать по разным причинам, и вместе с тем мы не можем избежать двусмысленности, употребляя слова «сознательный» и «бессознательный» то в описательном смысле, то в систематическом, где они означают принадлежность к определенным системам и наличие определенных свойств. Можно было бы еще сделать попытку избежать путаницы, дав выявленным психическим системам произвольно выбранные названия, в которых сознательность не затрагивается. Но сначала следовало бы дать отчет в том, на чем основывается различие систем, и при этом нельзя было бы обойти стороной сознательность, ибо она образует исходный пункт всех наших исследований. Пожалуй, некоторую помощь мы можем ждать от предложения заменять, по крайней мере в письменной речи, сознание буквами *Сз,* а бессознательное — соответствующим сокращением *Бсз*, когда мы употребляем оба слова в значении систем[1].

[1] Эти сокращения были введены Фрейдом еще в «Толковании сновидений» (1900).

В позитивном изложении в качестве результата психоанализа мы укажем на то, что в целом психический акт проходит через две стадии состояний, между которыми вклинивается своего рода проверка *(цензура)*. В первой фазе он является бессознательным и относится к системе *Бсз*; если во время проверки он отклоняется цензурой, то переход во вторую фазу для него заказан; тогда он называется «вытесненным» и вынужден остаться бессознательным. Но если он выдерживает эту проверку, то вступает во вторую фазу и принадлежит второй системе, которую мы назовем системой *Сз*. Однако его отношение к сознанию пока еще однозначно не определяется принадлежностью к этой системе. Он еще не сознателен, но *способен к осознанию* (по выражению Й. Брейера)[1], то есть при совпадении известных условий он может без особого сопротивления стать объектом сознания. Учитывая эту способность к осознанию, мы называем систему *Сз* также *предсознательным*. Если окажется, что осознание предсознательного определяется также известной цензурой, то мы будем разграничивать системы *Псз* и *Сз* более строго. Пока же достаточно зафиксировать, что система *Псз* имеет такие же свойства, что и система *Сз*, и что строгая цензура несет свою службу при переходе от *Бсз* к *Псз* (или *Сз*).

С принятием этих (двух или трех) психических систем психоанализ еще на один шаг отдалился от описательной психологии сознания, дополнился новой постановкой вопроса и новым содержанием. До сих пор он отличался от психологии прежде всего *динамическим* пониманием душевных процессов; теперь добавляется то, что он учитывает также психическую *топику* и, рассматривая любой психический акт, пытается показать, в рамках какой системы или между какими системами он происходит. Из-за такого стремления он получил название *глубинной психологии*[2]. Далее мы узнаем, что он может обогатиться также еще и другой точкой зрения.

Если мы принимаем всерьез топику психических актов, то должны будем проявить интерес к одному неясному вопросу, возникающему в этом месте. Если какой-нибудь психический акт (ограничимся здесь актом, носящим характер представления) переходит из системы *Бсз* в систему *Сз* (или

---

[1] См. «Этюды об истерии» (Брейер и Фрейд, 1895).
[2] От Блейлера (1914).

Псз), то должны ли мы предположить, что с этим перемещением связана новая фиксация, так сказать, вторая запись данного представления, которая, таким образом, может содержаться в новой психической локальности и наряду с которой продолжает существовать первоначальная, бессознательная запись?[1] Или, скорее, мы должны полагать, что это преобразование состоит в изменении состояния, которое происходит с тем же материалом и с той же локальностью? Этот вопрос может показаться непонятным, но его необходимо задать, если мы хотим составить себе более определенное представление о психической топике, размерах психической глубины. Он сложный, потому что выходит за пределы чисто психологического и касается отношения душевного аппарата к анатомии. Мы знаем, что такие отношения, грубо говоря, существуют. Неопровержимый результат исследования заключается в том, что душевная деятельность связана с функцией мозга в такой степени, которая не сравнится ни с каким другим органом. Еще дальше — и неизвестно, насколько — ведет открытие неравноценности частей мозга и их особая связь с определенными частями тела и видами умственной деятельности. Но все попытки исходя из этого разгадать локализацию душевных процессов, все усилия вообразить, как представления накапливаются в нервных клетках, а возбуждения перемещаются по нервным волокнам, потерпели полную неудачу[2]. Такая же судьба постигла бы учение, которое попыталось бы, например, выявить анатомическое место системы *Сз*, сознательной душевной деятельности, в коре головного мозга, а бессознательные процессы поместить в субкортикальные части мозга[3]. Здесь зияет пробел, заполнить который сейчас невозможно, да это и не входит в задачи психологии. Наша психическая топика *пока* не имеет ничего общего с анатоми-

[1] Идея о том, что в психике представление может присутствовать более чем в одной «записи», впервые была высказана Фрейдом в письме Флиссу от 6 декабря 1896 года (Freud, 1950, письмо № 52). Он обращается к этой гипотезе в связи с теорией памяти в главе 7, раздел Б «Толкования сновидений» (1900) и упоминает ее также в разделе Е этой же главы, причем в формулировке, которая уже намечает вышеуказанную аргументацию.

[2] Фрейд сам вплотную занимался вопросом о локализации функций мозга в своей работе об афазии (1891).

[3] Это Фрейд утверждал еще в предисловии к своему переводу работы Бернгейма «De la suggestion» (Freud, 1888–1889).

ей; она относится к областям душевного аппарата независимо от их местоположения в теле, а не к анатомическим локальностям.

В этом отношении наша работа свободна и может вестись в соответствии с ее собственными потребностями. Будет полезно также помнить о том, что наши предположения претендуют прежде всего лишь на то, чтобы представлять собой ценность с точки зрения наглядного объяснения. Первая из двух рассматриваемых возможностей, а именно, что *сз* фаза представления означает новую запись, находящуюся в другом месте, несомненно, является более приблизительной, но вместе с тем и более удобной. Второе предположение о просто *функциональном* изменении состояния исходно более вероятно, но оно менее пластично, им труднее оперировать. С первым, топическим, предположением связано топическое разделение систем *Бсз* и *Сз* и возможность того, что представление одновременно присутствует в двух местах психического аппарата; более того, если ему не чинит препятствий цензура, то оно постоянно перемещается с одного места на другое, возможно, не теряя своего первого местоположения или записи. Это может показаться странным, но опирается на впечатления из психоаналитической практики.

Если сообщить пациенту вытесненное им в свое время представление, которое было разгадано, то вначале это ничего не меняет в его психическом состоянии. Прежде всего это не устраняет вытеснения и его последствий, как того можно было бы ожидать, поскольку бессознательное ранее представление стало осознанным. Напротив, вначале происходит лишь новое отвержение вытесненного представления. Но фактически теперь одно и то же представление находится у пациента в двух формах в разных местах его душевного аппарата; во-первых, у него есть сознательное воспоминание об акустическом следе представления благодаря сообщению, во-вторых, как нам точно известно, наряду с этим он носит в себе в прежней форме бессознательное воспоминание о пережитом[1]. В действительности же вытеснение устраняется лишь после того, как сознательное представление, преодолев сопротив-

[1] Топическое разграничение сознательных и бессознательных содержаний дано в описании Фрейдом случая «маленького Ганса» (1909), еще более подробно оно обсуждается в заключительных абзацах его статьи, посвященной технике психоанализа, «Начало лечения» (1913).

ление, вступает в связь с бессознательным следом воспоминания. И только благодаря осознанию последнего достигается успех. Таким образом, при поверхностном рассуждении создается впечатление, что сознательные и бессознательные представления являются различными и в топическом отношении отдельными записями одного и того же содержания. Но в дальнейшем становится ясно, что тождественность сообщения и вытесненного воспоминания пациента — лишь кажущаяся. Услышать и пережить — по своей психологической природе совершенно разные вещи, даже если их содержание одинаково.

Поэтому вначале мы не можем сделать выбор между двумя обсуждаемыми возможностями. Возможно, позднее мы столкнемся с моментами, имеющими решающее значение для одной из них. Быть может, нам еще предстоит сделать открытие, что наша постановка вопроса была недостаточной и что различие между бессознательным и сознательным представлением следует определить совершенно иначе.

3. БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЧУВСТВА

В предыдущей дискуссии мы ограничились представлениями и теперь можем задать новый вопрос, ответ на который должен помочь прояснить наши теоретические воззрения. Мы сказали, что существуют сознательные и бессознательные представления; но бывают ли также бессознательные импульсы влечений, чувства, ощущения или на этот раз нет никакого смысла создавать такие словосочетания?

Я действительно думаю, что противопоставление сознательного и бессознательного неприменимо к влечению. Влечение никогда не может стать объектом сознания, им может быть только представление, которое его репрезентирует. Но и в бессознательном оно не может быть репрезентировано иначе, кроме как через представление. Если бы влечение не привязывалось к представлению или не проявлялось как аффективное состояние, то мы ничего не могли бы знать о нем. И если мы все-таки говорим о бессознательном импульсе влечения или о вытесненном импульсе влечения, то это всего лишь простая неаккуратность в терминологии. Мы здесь имеем в виду лишь импульс влечения, репрезентация которого бессознательна, и ничего другого под этим не подразумевается.

Можно было бы подумать, что так же легко дать ответ на вопрос о бессознательных ощущениях, чувствах, аффектах. Ведь сущность чувства и состоит в том, что оно испытывается, то есть становится известным сознанию. Таким образом, казалось бы, возможность бессознательности чувств, ощущений, аффектов полностью исключена. Но в психоаналитической практике мы привыкли говорить о бессознательной любви, ненависти, ярости и т. д. и считаем неизбежным даже такое странное словосочетание, как «бессознательное сознание вины» или парадоксальное выражение «бессознательный страх». Распространяется ли значение такого словоупотребления на «бессознательное влечение»?

Положение вещей здесь действительно иное. Прежде всего может случиться так, что аффективный или эмоциональный импульс воспринимается, но не распознается. Вследствие вытеснения своей действительной репрезентации он вынужден вступить в связь с другим представлением и принимается сознанием за выражение последнего. Когда мы восстанавливаем истинную связь, мы называем первоначальный аффективный импульс «бессознательным», хотя его аффект никогда не был бессознательным, а вытеснению подверглось только его представление. Употребление выражений «бессознательный аффект» и «бессознательное чувство» вообще указывает на судьбы количественного фактора импульса влечения, подвергшегося вытеснению. Мы знаем, что эта судьба может быть троякого рода; либо аффект сохраняется как таковой полностью или частично, либо он превращается в качественно другую сумму аффекта, прежде всего в страх, либо он подавляется, то есть его развитие вообще предотвращается. (Пожалуй, эти возможности еще легче изучать на примере работы сновидения, чем при неврозах[1].) Мы также знаем, что подавление развития аффекта и есть истинная цель вытеснения и что его работа остается незавершенной, если эта цель не достигается. Во всех случаях, когда вытеснению удается затормозить развитие аффекта, мы называем «бессознательными» те аффекты, которые восстанавливаются при устранении работы вытеснения. Поэтому такому словоупотреблению нельзя отказать в последовательности; но в сравне-

[1] Важнейшие идеи, касающиеся аффектов, содержатся в «Толковании сновидений», III раздел главы 6.

нии с бессознательным представлением существует важное отличие, которое заключается в том, что после вытеснения бессознательное представление сохраняется в системе *Бсз* как реальное образование, тогда как бессознательному аффекту в ней соответствует только возможность образования, которой не позволили реализоваться. Таким образом, строго говоря, хотя это словоупотребление остается безупречным, нет бессознательных аффектов, как бывают бессознательные представления.. Но весьма возможно, что в системе *Бсз* есть аффективные образования, которые наряду с другими становятся сознательными. Все различие объясняется тем, что представления — это, по существу, катексисы следов воспоминаний, тогда как аффекты и чувства соответствуют процессам отвода, конечные проявления которых воспринимаются как ощущения. При нынешнем состоянии наших знаний об аффектах и чувствах мы не можем выразить это различие более ясно[1].

Констатация того, что вытеснению иногда удается затормозить перевод влечения в аффективное выражение, представляет для нас особый интерес. Этот факт демонстрирует нам, что в норме система *Сз* владеет аффективностью, равно как и доступом к двигательной сфере, и повышает ценность вытеснения, показывая, что ее следствием может быть не только недопущение в сознание, но и препятствие как развитию аффекта, так и мотивированию мышечной деятельности. Мы можем также сказать, используя обратную формулировку: пока система *Сз* властвует над аффективностью и двигательной сферой, мы называем психическое состояние индивида нормальным. Между тем различие в отношении господствующей системы к двум близким друг другу реакциям, отводящим энергию, очевидно[2]. Если власть *Сз* над произвольной моторикой имеет надежное основание, регулярно выдерживает натиск невроза и терпит поражение лишь при психозе, то

[1] Дальнейшее обсуждение этого вопроса содержится в главе 2 работы «Я и Оно» (1923). Еще более четкое описание сущности аффектов Фрейд дает в 25-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917), а также в главе 8 работы «Торможение, симптом и страх» (1926).

[2] Аффективность выражается в основном в моторном (секреторном, регулирующем сосуды) отводе энергии, ведущем к (внутреннему) изменению собственного тела, безотносительно внешнего мира; моторика — в действиях, предназначенных для изменения внешнего мира.

в отношении развития аффектов власть *Сз* менее прочна. Еще в нормальной жизни можно видеть, как системы *Сз* и *Бсз* ведут постоянную борьбу за главенство в сфере аффектов, как разграничиваются определенные сферы влияния и происходит смешение действующих сил.

Значение системы *Сз* (*Псз*) с точки зрения доступов к высвобождению аффектов и к действиям также проясняет нам роль, которая выпадает на долю замещающего представления в возникновении болезни. Возможно, что развитие аффекта исходит непосредственно из системы *Бсз*; в этом случае он всегда носит характер страха, на который «обмениваются» все «вытесненные» аффекты. Но часто импульсу влечения приходится ждать, пока он не находит в системе *Сз* замещающего представления. В таком случае эта сознательная замена содействует развитию аффекта, а качественный характер аффекта определяется его природой. Мы утверждали, что при вытеснении происходит отделение аффекта от его представления, после чего каждый из них идет навстречу своей судьбе. С описательной точки зрения это неоспоримо; но реальный процесс, как правило, протекает так, что аффект не проявляется до тех пор, пока ему не удается прорыв к новому представительству в системе *Сз*.

4. ТОПИКА И ДИНАМИКА ВЫТЕСНЕНИЯ

В итоге мы пришли к тому, что вытеснение, по существу, — это такой процесс, который происходит с представлениями на границе систем *Бсз* и *Псз* (*Сз*), и теперь можем попытаться описать этот процесс более подробно. При этом речь должна идти об *изъятии* катексиса, но возникает вопрос, в какой системе происходит изъятие и к какой системе относится изъятый катексис.

Вытесненное представление остается в *Бсз* дееспособным; то есть оно должно было сохранить свой катексис. Изъятое должно представлять собой нечто иное. Возьмем случай собственно вытеснения (послеподавления), которое совершается с предсознательным или даже уже осознанным представлением; вытеснение здесь может состоять только в том, что представление лишается (пред)сознательного катексиса, относящегося к системе *Псз*. Тогда представление остается некатектированным, или получает катексис из *Бсз*, или сохраняет *бсз* катексис, который у него уже был раньше.

Следовательно, происходит изъятие предсознательного, сохранение бессознательного катексиса или замена предсознательного катексиса бессознательным. Заметим, кстати, что в основу этих рассуждений мы ненамеренно положили гипотезу, что переход из системы *Бсз* в следующую происходит не посредством создания новой записи, а через перемену состояния, изменение катексиса. Функциональная гипотеза без большого труда одержала верх над топической.

Однако этого процесса изъятия либидо недостаточно для того, чтобы прояснить другую особенность вытеснения. Нельзя понять, почему бы представлению, оставшемуся катектированным или снабженному катексисом со стороны *Бсз*, не возобновить попытки благодаря своему катексису проникнуть в систему *Псз*. В таком случае с ним должно было бы повториться изъятие либидо, и все та же игра продолжалась бы бесконечно, но результатом не было бы вытеснение. Точно так же описанный механизм изъятия предсознательного катексиса не сработал бы и в том случае, если бы речь шла о первичном вытеснении; ведь в этом случае есть бессознательное представление, которое еще не получило катексиса из *Псз*, а потому и не может его лишиться.

Следовательно, здесь нам нужен другой процесс, который в первом случае [то есть в случае послеподавления] поддерживает вытеснение, а во втором [то есть в случае первичного вытеснения] — обеспечивает его возникновение и поддержание, и мы можем найти его только в гипотезе о *контркатексисе*, благодаря которому система *Псз* защищается от натиска бессознательного представления. В чем выражается такой контркатексис, происходящий в системе *Псз*, мы посмотрим на клинических примерах. Именно он репрезентирует продолжительные затраты [энергии] на первичное вытеснение и вместе с тем обеспечивает его долговечность. Контркатексис — это единственный механизм первичного вытеснения; при собственно вытеснении (послеподавлении) добавляется изъятие *псз* катексиса. Вполне возможно, что именно катексис, изъятый у представления, используется для контркатексиса.

Заметим, как при описании психических феноменов мы постепенно пришли к использованию третьего (помимо динамического и топического), подхода — *экономического,* стремящегося проследить судьбы величин возбуждения и полу-

чить по меньшей мере сравнительную их оценку. Мы не сочтем несправедливым удостоить подход, представляющий собой завершение психоаналитического исследования, особого наименования. Я предлагаю назвать такое изложение *метапсихологическим*[1], если нам удастся описать этот процесс в его *динамическом, топическом* и *экономическом* отношениях. Можно сказать заранее, что на нынешнем уровне наших знаний это удастся нам только отчасти.

Давайте сделаем робкую попытку дать метапсихологическое описание процесса вытеснения в случае трех известных неврозов переноса. При этом мы можем заменить «катексис» на «либидо»[2], ведь, как нам известно, речь идет о судьбах сексуальных влечений.

Первая фаза процесса при истерии страха часто упускается из виду, возможно, и в самом деле не замечается, но при тщательном наблюдении ее легко выделить. Она заключается в том, что появляется страх, но не ясно — страх перед чем. Можно предположить, что в *Бсз* был любовный импульс, требовавший перемещения в систему *Псз*; однако обращенный к нему из этой системы катексис оказался изъят на манер попытки к бегству, а бессознательный либидинозный катексис отвергнутого представления был отведен в виде страха. При повторении этого процесса предпринимается первый шаг к преодолению нежелательного развития страха[3]. Обращенный в бегство [*Бсз*] катексис направляется на замещающее представление, которое, с одной стороны, ассоциативно связано с отвергнутым представлением, а с другой стороны, вследствие отдаленности от него избежало вытеснения *(замена посредством смещения)* и содействовало рационализации развития страха, пока еще не поддающегося торможению. Теперь замещающее представление играет в системе *Сз* (*Псз*) роль контркатексиса, предохраняя от появления вытесненного представления в *Сз*; с другой стороны, оно является отправным пунктом тем более не поддающегося теперь торможению вы-

[1] Фрейд впервые употребил данный термин примерно за двадцать лет до этого в письме Флиссу от 13 февраля 1896 года (Freud, 1950, письмо № 41). В сочинениях, которые Фрейд опубликовал за эти годы, этот термин встречается еще только один раз, а именно в «Психопатологии обыденной жизни» (1901), глава 12, раздел С.

[2] Это Фрейд уже сделал тремя абзацами выше.

[3] Это «вторая фаза» процесса.

свобождаемого аффекта страха или ведет себя как аффект. Клиническое наблюдение показывает, например, что ребенок, страдающий фобией животных, испытывает страх при двух условиях: во-первых, когда усиливается вытесненный любовный импульс и, во-вторых, когда воспринимается животное, внушающее страх. Замещающее представление ведет себя в одном случае как место перехода из системы *Бсз* в систему *Сз*, в другом случае — как самостоятельный источник развития страха. Распространение господства системы *Сз* обычно выражается в том, что первый способ возбуждения замещающего представления все больше уступает место второму. Возможно, в конечном итоге ребенок будет вести себя так, словно он совсем не расположен к отцу, полностью от него освободился и как будто действительно боится животного. Но только этот страх перед животным черпает силы из бессознательного источника, оказывается слишком сильным и не поддается воздействиям из системы *Сз*, выдавая этим свое происхождение из системы *Бсз*.

Таким образом, контркатексис из системы *Сз* во второй фазе развития истерии страха привел к появлению замещающего образования. Этот же механизм вскоре находит новое применение. Как мы знаем, процесс вытеснения еще не завершен и находит дальнейшую цель в задаче затормозить развитие страха, исходящего от этой замены[1]. Это происходит следующим образом: все близкие к замещающему представлению ассоциации катектируются особенно интенсивно, в результате чего могут проявить высокую чувствительность к возбуждению. Возбуждение какого-нибудь места этой конструкции из-за связи с замещающим представлением должно дать толчок к развитию незначительного по интенсивности страха, который теперь используется как сигнал, чтобы через новую смену *[Псз]* катексиса затормозить дальнейшее развитие страха[2]. Чем дальше от внушающей страх замены размеща-

[1] «Третья фаза».

[2] Идея о том, что высвобождение небольшого количества неудовольствия служит «сигналом», чтобы воспрепятствовать развитию гораздо более сильного неудовольствия, содержится уже в «Проекте», написанном Фрейдом в 1895 году (1950, часть II, раздел «Нарушения мышления из-за аффекта») и далее в «Толковании сновидений» (1900). Разумеется, гораздо подробнее она обсуждается в работе «Торможение, симптом и страх» (1926), например в главе 11, раздел «А(б)».

ются чувствительные и чуткие контркатексисы, тем точнее может функционировать механизм, который должен изолировать замещающее представление и не допускать к нему новые возбуждения. Разумеется, эти меры предосторожности защищают только от возбуждений, которые поступают к замещающему представлению извне через восприятие, но не могут защитить от импульса влечения, который затрагивает замещающее представление из-за его связи с вытесненным представлением. Таким образом, они начинают действовать только тогда, когда замена взяла на себя функцию представительства вытесненного, и никогда не могут действовать абсолютно надежно. При любом усилении импульса влечения защитный вал вокруг замещающего представления должен отодвигаться чуть дальше. Вся конструкция, которая аналогичным образом создается при других неврозах, носит название *фобии*. Бегство от сознательного катексиса замещающего представления выражается в избегании, отказах и запретах, по которым судят об истерии страха. Если окинуть взором весь этот процесс, можно сказать, что третья фаза повторила в большем масштабе работу второй фазы. Система *Сз* защищается от активирования замещающего представления посредством контркатексиса близких ассоциаций, подобно тому как раньше она защищалась посредством катексиса замещающего представления от появления вытесненного представления. Образование замены посредством смещения продолжалось таким же образом. Необходимо также добавить, что прежде системе *Сз* принадлежало лишь небольшое место, служившее вратами для вторжения вытесненного импульса влечения, а именно замещающее представление, но что в конечном счете вся эта фобическая конструкция соответствует анклаву бессознательного влияния. Далее можно подчеркнуть ту интересную точку зрения, что благодаря всему этому приведенному в действие защитному механизму была достигнута внешняя проекция опасности, исходящей от влечения. Я ведет себя так, словно опасность развития страха угрожает ему не со стороны импульса влечения, а со стороны восприятия, и поэтому может реагировать на эту внешнюю опасность попытками бегства в форме фобических избеганий. В этом процессе вытеснению удается одно — до некоторой степени ограничить развитие страха, но только ценой больших жертв, а именно личной свободы. Однако попытки бегства перед тре-

бованиями влечений в целом бесполезны, а результат фобического бегства все же остается неудовлетворительным.

Значительная часть условий, выявленных нами при истерии страха, относится также и к двум другим неврозам, а потому мы можем ограничиться рассмотрением различий и роли контркатексиса. При конверсионной истерии катексис вытесненного представления превращается в иннервацию симптома. В какой степени и при каких обстоятельствах благодаря такому оттоку энергии в иннервацию дренируется бессознательное представление, в результате чего может прекратиться его давление на систему *Сз*, — этот и аналогичные вопросы лучше оставить для специального исследования истерии[1]. Роль контркатексиса, исходящего из системы *Сз* (*Псз*), при конверсионной истерии понятна и проявляется в симптомообразовании. Именно от контркатексиса зависит выбор того, на какой части репрезентации влечения может сконцентрироваться весь ее катексис. Эта выбранная для симптома часть отвечает следующему условию: она точно так же выражает желанную цель импульса влечения, как и стремление к защите или наказанию системы *Сз*; следовательно, она гиперкатектируется и поддерживается с двух сторон, подобно замещающему представлению при истерии страха. Из этих отношений мы сразу же можем сделать вывод, что затраты энергии на вытеснение со стороны системы *Сз* не должны быть такими же по величине, как катектическая энергия симптома, ибо сила вытеснения измеряется израсходованным контркатексисом, а симптом опирается не только на контркатексис, но и на сконденсированный в нем катексис влечения из системы *Бсз*.

Что касается невроза навязчивых состояний, то к замечаниям, содержащимся в предыдущей статье, мы бы добавили только, что здесь контркатексис системы *Сз* выступает на первый план наиболее ощутимо. Именно он, организованный в виде реактивного образования, обеспечивает первое вытеснение, и именно на нем позднее происходит прорыв вытесненного представления. Можно предположить, что причина того,

---

[1] Возможно, это ссылка на пропавшую метапсихологическую работу о конверсионной истерии. Фрейд затронул этот вопрос еще в «Этюдах об истерии» (1895), а именно при анализе случая «Фрейлин Элизабет фон Р.» в первой трети раздела «Эпикриз».

что работа вытеснения при истерии страха и неврозе навязчивых состояний оказывается менее удачной, чем при конверсионной истерии, заключается в преобладании контркатексиса и отсутствии отвода энергии[1].

5. Особые свойства системы *Бсз*

Разграничение двух психических систем приобретает новое значение, если мы обратим внимание на то, что процессы, происходящие в одной системе, системе *Бсз*, проявляют такие свойства, которые не обнаруживаются в следующей, более высокой системе.

Ядро *Бсз* состоит из репрезентаций влечений, которые стремятся отвести свой катексис, то есть из побуждений. Эти импульсы влечения скоординированы друг с другом, существуют рядом, не оказывая влияния друг на друга и не противореча друг другу. Когда одновременно активируются два побуждения, цель которых кажется нам несовместимой, то оба этих побуждения не отдаляются друг от друга и не устраняют друг друга, а объединяются для образования промежуточной цели, компромисса.

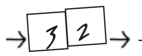
В этой системе нет отрицания, нет сомнения, нет степеней безопасности. Все это привносится только работой цензуры между *Бсз* и *Псз*. Отрицание представляет собой замену вытеснения более высокого уровня[2]. В *Бсз* есть только в той или иной степени катектированные содержания.

Господствует гораздо большая подвижность интенсивностей катексиса [в *Бсз*]. Благодаря процессу *смещения* одно представление может отдать всю сумму своего катексиса другому, благодаря процессу *сгущенияуплотнения?* оно может вобрать в себя весь катексис многих других представлений. Я предложил рассматривать два этих процесса как признаки так называемого *первичного* психического *процесса*. В системе *Псз* господствует *вторичный процесс*[3]; там, где такой пер-

[1] Темы данного раздела снова обсуждаются Фрейдом в работе «Торможение, симптом и страх» (1926).

[2] Ср. аналогичное определение в работе Фрейда «Положения о двух принципах психического события» (1911).

[3] См. рассуждения в главе 7 «Толкования сновидений» (1900), которые основываются на идеях, развиваемых Й. Брейером в «Этюдах об истерии».



вичный процесс может разыгрываться на элементах системы *Псз*, он выглядит «комичным» и вызывает смех[1].

Процессы системы *Бсз* находятся *вне времени*, то есть они не упорядочены во времени, не меняются с течением времени, вообще не связаны со временем. Также и временные отношения связаны с системой *Сз*[2].

Столь же мало процессы *Бсз* считаются с *реальностью*. Они подчинены принципу удовольствия; их судьба зависит только от того, насколько они сильны и отвечают ли они требованиям регуляции удовольствия и неудовольствия.

Подытожим: *непротиворечивость*, *первичный процесс* (подвижность катексисов), *вневременность* и *замена внешней реальности психической* — таковы характеристики, которые мы вправе ожидать найти в процессах, относящихся к системе *Бсз*[3].

Бессознательные процессы становятся для нас познаваемыми только в условиях сновидения и неврозов, то есть когда процессы высшей системы *Псз* возвращаются на прежнюю ступень вследствие снижения (регрессии). Сами по себе они непознаваемы, даже неспособны существовать, поскольку на систему *Бсз* очень рано напластовывается система *Псз*, отре-

---

[1] Более подробно это рассматривается в книге Фрейда об остроумии (1905), в частности во II и III разделах главы 7.

[2] Только в издании 1915 года в этом месте говорится *«Псз»*. — Замечания о «безвременности» бессознательного содержатся во многих работах Фрейда. Наверное, самое раннее из них относится к 1897 году (Freud, 1950, «Рукопись “M”»), где он заявляет: «Пренебрежение временным характером является существенным отличием деятельности в предсознательном и бессознательном». Косвенное упоминание содержится в «Толковании сновидений» (1900), однако первым опубликованным в печати высказыванием, по всей видимости, была сноска, добавленная в 1907 году к работе «Психопатология обыденной жизни» (1901). В последующих сочинениях Фрейд также не раз возвращался к этой теме, прежде всего в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), а также в 31-й лекции «Нового цикла» (1933).

[3] Упоминание о другом важном преимуществе *Бсз* мы оставим для иного контекста. [Фрейд обсуждает его в письме Георгу Гроддеку от 5 июня 1917 года (Freud, 1960): «В моей статье о Бсз, которую Вы упоминаете, Вы найдете... незначительную пометку: “Упоминание о другом важном преимуществе *Бсз* мы оставим для иного контекста”. Я хочу раскрыть Вам то, что здесь было скрыто: утверждение, что бессознательный акт обладает интенсивным пластичным воздействием на соматические процессы, которое совершенно не свойственно акту сознательному»].

зающая доступ к сознанию и к подвижности как таковой. Отвод энергии в системе *Бсз* через телесную иннервацию ведет к развитию аффекта, но, как мы уже слышали, *Псз* оспаривает у нее и этот путь к разрядке. При нормальных условиях сама по себе система *Бсз* не могла бы произвести ни одного целесообразного мышечного действия, за исключением тех, что уже организованы в рефлексы.

Полное значение описанных свойств системы *Бсз* могло бы стать нам ясным только в том случае, если бы мы сопоставили и сравнили их с особенностями системы *Псз*. Но это завело бы нас так далеко, что я предлагаю опять повременить и приступить к сравнению обеих систем только после оценки вышестоящей системы[1]. Здесь же упомянем только самое неотложное.

Процессы системы *Псз* — причем не важно, осознаны ли они уже или только способны к осознанию — обнаруживают тенденцию к торможению отвода катектированных представлений. Если процесс переходит с одного представления на другое, то первое представление сохраняет часть своего катексиса, и только незначительный его компонент подвергается смещению. Смещения и сгущения, как при первичном процессе, исключены или существенно ограничены. Это обстоятельство побудило Й. Брейера предположить наличие двух разных состояний катектической энергии в душевной жизни — состояние тонически связанной энергии и состояние свободно подвижной энергии, стремящейся к отводу. Я полагаю, что это разграничение до сих пор представляет собой наиболее глубокое понимание нами сущности нервной энергии, и не вижу, как можно без него обойтись. Настоятельной потребностью метапсихологического описания — но, возможно, пока еще слишком смелым предприятием — было бы продолжение здесь этой дискуссии.

Далее, на долю системы *Псз* выпадает создание возможности сообщения между содержанием представлений, благодаря чему они могут влиять друг на друга, временное их упорядочивание[2], введение одной или нескольких цензур, проверка реальности и принцип реальности. Также и сознательная память, по-видимому, зависит от *Псз*; ее следует

[1] Вероятно, указание на пропавшую работу о сознании.

[2] Указание на механизм, посредством которого *Псз* справляется с этим, содержится в работе Фрейда «Заметка о чудо-блокноте» (1925).

строго отличать от следов воспоминаний, в которых фиксируются переживания *Бсз*, и она, вероятно, соответствует особой записи, которую мы хотели было предположить при описании отношений между сознательными и бессознательными представлениями, но уже отказались от этого. В связи с этим мы найдем также средства для того, чтобы покончить с нашими колебаниями при обозначении высшей системы, которую мы сейчас без определенного направления называем то *Псз*, то *Сз*.

Будет уместным также предупреждение не обобщать преждевременно то, что мы узнали здесь о распределении душевных функций между двумя системами. Мы описываем условия так, как они проявляются у зрелого человека, у которого система *Бсз*, строго говоря, функционирует лишь как предварительная ступень высшей организации. Какое содержание и какие отношения существуют у этой системы в ходе индивидуального развития и каково ее значение у животного — это должно быть не выведено из нашего описания, а исследовано самостоятельно[1]. Мы должны также быть готовы к тому, чтобы выявить у человека болезненные условия, при которых обе системы меняют содержание, а также свойства или сами меняются местами друг с другом.

6. Сообщение между двумя системами

Однако было бы неверно представлять себе, что *Бсз* остается в покое, тогда как вся психическая работа совершается в *Псз*, что *Бсз* — это нечто, с чем уже было покончено, рудиментарный орган, остаточное явление развития. Или предполагать, что сообщение между двумя системами ограничивается актом вытеснения, когда *Псз* сбрасывает в пропасть *Бсз* все, что кажется ему помехой. Скорее, *Бсз* живо, способно развиваться и поддерживает с *Псз* множество других отношений, в том числе и отношения кооперации. Обобщая, надо

[1] Одно из немногих замечаний, сделанных Фрейдом о метапсихологии животных, содержится в конце главы 1 «Очерка о психоанализе»: «Эта общая схема психического аппарата будет относиться также к высшим животным, в психическом отношении сходным с человеком. Сверх-Я следует предполагать везде там, где, как у человека, был долгий период детской зависимости. Безусловно, необходимо предположить разделение на Я и Оно. Психология животных пока еще не взялась за интересную задачу, которая здесь возникает».

сказать, что *Бсз* продолжает свое существование в так называемых дериватах, оно доступно воздействиям жизни, постоянно влияет на *Псз* и, в свою очередь, даже подвергается влияниям со стороны *Псз*.

Изучение дериватов *Бсз* принесет нашим надеждам на схематически четкое разделение между двумя психическими системами сильнейшее разочарование. Несомненно, это вызовет неудовлетворенность нашими результатами и, вероятно, будет использовано для того, чтобы подвергнуть сомнению ценность нашего способа разделять психические процессы. Но мы выдвинем довод, что у нас нет другой задачи, кроме как перевести в теорию результаты наблюдений, и мы не берем на себя обязательства сходу создать безукоризненную теорию, подкупающую своей простотой. Мы принимаем ее сложности, пока они кажутся адекватными наблюдению, и не отказываемся от надежды, что именно благодаря им мы придем к окончательному пониманию истинного положения вещей, простому самому по себе, но отвечающему сложностям реальности.

Среди дериватов *бсз* импульсов влечений описанного характера есть такие, которые объединяют в себе противоположные определения. С одной стороны, они высокоорганизованны, непротиворечивы, обладают всеми свойствами системы *Сз*, и едва ли мы смогли бы отличить их от образований этой системы. С другой стороны, они бессознательны и не способны осознаваться. То есть качественно они относятся к системе *Псз*, но фактически — к *Бсз*. Их происхождение остается решающим фактором в определении их судьбы. Их нужно сравнить с помесями человеческих рас, которые в общем и целом уже похожи на белых, но их цветное происхождение выдает та или иная бросающаяся в глаза черта, и поэтому они остаются исключенными из общества и не пользуются ни одной из привилегий белых. Таковы по своему характеру фантазии нормальных людей и невротиков, которые мы выявили в качестве предварительной ступени образования снов и симптомов и которые, несмотря на свою высокую организацию, остаются вытесненными и как таковые осознаваться не могут[1]. Они близко подступают к сознанию, не встречают

[1] Более подробно этот вопрос рассматривается в примечании, которое Фрейд в 1920 году добавил к V разделу третьего из своих «Трех очерков по теории сексуальности» (1905).

помех, пока не обладают интенсивным катексисом, но отбрасываются, как только их катексис превышает определенный уровень. Точно такими же более высокоорганизованными дериватами *Бсз* являются замещающие образования, которым, однако, удается прорваться в сознание благодаря благоприятным условиям, например благодаря совпадению по времени с контркатексисом *Псз*.

Когда в другом месте[1] мы подробнее исследуем условия осознания, часть возникающих здесь проблем окажется для нас разрешимой. Здесь нам представляется полезным противопоставить прежнему рассмотрению, исходящему из *Бсз*, подход, отталкивающийся от сознания. Сознанию противостоит вся сумма психических процессов в качестве сферы предсознательного. Значительная часть этого предсознательного происходит из бессознательного, носит характер его дериватов и подлежит цензуре прежде, чем сможет стать осознанной. Другая часть *Псз* способна стать осознанной без цензуры. Здесь мы вступаем в противоречие с предыдущим предположением. При рассмотрении вытеснения мы были вынуждены поместить цензуру, определяющую осознание, между *Бсз* и *Псз*. Теперь у нас напрашивается мысль о наличии цензуры между *Псз* и *Сз*[2]. Но мы сделаем правильно, если не будем видеть в таком осложнении трудности, а предположим, что каждому переходу от одной системы к ближайшей более высокой, то есть каждому шагу вперед к более высокой ступени психической организации, соответствует новая цензура. Однако это опровергает гипотезу о непрерывном обновлении записей.

Причину всех этих трудностей следует искать в том, что осознанность, единственное непосредственно данное нам свойство психических процессов, совсем не годится для разделения на системы. Помимо того, что сознательное не всегда сознается, а иногда бывает и латентным, наблюдение показало нам, что многое из того, что обладает свойствами системы *Псз*, не осознается, и нам еще предстоит узнать, что осознание ограничено определенными направлениями своего внимания[3]. Таким образом, сознание не находится в простых отно-

[1] Вероятно, вновь указание на пропавшую работу о сознании.

[2] Фрейд затронул этот вопрос еще в главе 7, раздел Е своего «Толкования сновидений» (1900), *Studienausgabe*, т. 2, с. 582 и с. 585.

[3] Местоимение «своего» относится, скорее всего, к *Псз*. Эта несколько непонятная фраза, наверное, была бы яснее, если бы мы располагали поте-

шениях ни с системами, ни с вытеснением. Истина в том, что не только психически вытесненное остается чуждым сознанию, но и часть господствующих в нашем Я побуждений, то есть сильнейшая функциональная противоположность вытесненного. По мере того как мы с большим трудом продвигаемся к метапсихологическому пониманию душевной жизни, мы должны научиться эмансипироваться от значения симптома «сознательность»[1].

До тех пор, пока мы к нему привязаны, мы видим, как наши обобщения постоянно нарушаются исключениями. Мы видим, что дериваты *Бсз*[2] осознаются в виде замещающих образований и симптомов, как правило, после больших искажений в сравнении с бессознательным, но зачастую сохраняя многие свойства, требующие вытеснения. Мы обнаруживаем, что многие предсознательные образования остаются бессознательными, хотя, как нам кажется, по своей природе они

рянной работой о сознании. Здесь особенно досадно, что существует этот пробел, поскольку можно предположить, что ссылка относится к рассмотрению функции внимания — темы, которая в более поздних работах Фрейда практически не проясняется. В «Толковании сновидений» (1900) есть два или три места, кажущиеся важными в этом отношении: «...что процессы возбуждения в ней [в системе предсознательного] без всякой задержки могут достигать сознания, если при этом выполнены определенные условия, например... известное распределение той функции, которую следует назвать вниманием». «Осознание связано с привлечением определенной психической функции, внимания. Система *Псз* преграждает не только доступ к сознанию — она также... распоряжается передачей мобильной катектической энергии, часть которой знакома нам в форме внимания». В отличие от незначительного количества ссылок на эту тему в более поздних сочинениях Фрейда, в «Проекте» 1895 года внимание обсуждается очень подробно и выступает в качестве одной из важнейших действенных сил в душевном аппарате. (Freud, 1950, в частности, 1 раздел части III.) Фрейд связывает его здесь (как и в своих «Положениях о двух принципах психического события», 1911) с функцией «проверки реальности». См. «Предварительные замечания издателей» к работе «Метапсихологическое дополнение к теории сновидений», где разбирается связь внимания с системой *В*.

[1] Обсуждаемая в этом абзаце сложность еще энергичнее подчеркивается Фрейдом в конце главы 1 работы «Я и Оно» (1923); затем в следующей главе этой работы он представляет новую структурную модель психики, в значительной мере облегчившую ему описание ее функционирования.

[2] Во всех прежних немецких изданиях здесь стоит *«Псз»*. Как подтвердилось при сравнении с оригинальной рукописью, речь идет об опечатке — следует читать *«Бсз»*.

вполне могут осознаваться. Вероятно, на них сказывается более сильное притяжение со стороны *Бсз*. Мы ориентированы на то, чтобы искать более значимое различие не между сознательным и предсознательным, а между предсознательным и бессознательным. *Бсз* отвергается цензурой на границе с *Псз*, но его дериваты могут обойти эту цензуру, добиться высокой организации, дорасти в *Псз* до определенной интенсивности катексиса, но затем, когда они превышают этот уровень и хотят проникнуть в сознание, они распознаются как дериваты *Бсз* и снова подвергаются вытеснению на новой цензурной границе между *Псз* и *Сз*. Таким образом, первая цензура действует против самого *Бсз*, а последняя против его *Псз* дериватов. Можно было бы подумать, что в ходе индивидуального развития цензура немного выдвинулась вперед.

В ходе психоаналитического лечения мы приводим неопровержимое доказательство существования второй цензуры, расположенной между системами *Псз* и *Сз*. Мы требуем от больного образовывать множество дериватов *Бсз*, обязываем его преодолевать возражения цензуры против осознания этих предсознательных образований и благодаря победе над этой цензурой прокладываем себе путь к устранению вытеснения, которое представляет собой продукт прежней цензуры. Добавим еще замечание, что существование цензуры между *Псз* и *Сз* напоминает нам, что осознание является не просто актом восприятия, а, вероятно, также *гиперкатексисом*, еще одним шагом вперед в развитии психической организации.

Обратимся теперь к вопросу о сообщении *Бсз* с другими системами — не столько ради того, чтобы установить нечто новое, сколько ради того, чтобы не пропустить самого очевидного. У истоков деятельности влечений системы сообщаются между собой самым активным образом. Часть возникших здесь процессов проходит через *Бсз*, словно через подготовительную ступень, и достигает наивысшего психического развития в *Сз*, другая часть задерживается в качестве *Бсз*. Но *Бсз* затрагивают также переживания, исходящие из внешнего восприятия. В норме все пути от восприятия к *Бсз* остаются свободными; и только пути, ведущие дальше от *Бсз*, подлежат заграждению посредством вытеснения.

Весьма примечательно, что *Бсз* одного человека может в обход *Сз* влиять на *Бсз* другого. Этот факт заслуживает более детального исследования, особенно в направлении того, можно

ли при этом исключить предсознательную деятельность, но в качестве описания он неоспорим[1].

Содержание системы *Псз* (или *Сз*) частично происходит из жизни влечений (благодаря содействию *Бсз*), частично — из восприятия. Неясно, в какой степени процессы этой системы могут оказывать непосредственное воздействие на *Бсз*; изучение патологических случаев зачастую выявляет почти невероятную самостоятельность *Бсз* и его неподверженность посторонним влияниям. Полное расхождение стремлений, абсолютный распад обеих систем — это вообще характеристика болезненного состояния. Однако психоаналитическое лечение построено на влиянии на *Бсз* через *Сз*, и во всяком случае оно показывает, что оказать такое влияние, хотя и с трудом, все-таки можно. Как мы уже упоминали, дериваты *Бсз*, служащие посредниками между двумя системами, прокладывают путь к достижению этого результата. Но мы вполне можем предположить, что спонтанно происходящее изменение *Бсз* под влиянием *Сз* — трудный и медленно протекающий процесс.

Кооперация между предсознательным и бессознательным, даже интенсивно вытесняемым импульсом, может произойти, если возникнет такая ситуация, что бессознательный импульс может в одинаковом направлении взаимодействовать с одним из господствующих стремлений. В этом случае вытеснение устраняется, а вытесненная активность допускается как подкрепление преднамеренной активности Я. Для этой констелляции бессознательное становится сообразным Я, не меняя ничего другого в своем вытеснении. При такой кооперации успех *Бсз* очевиден; и все же усилившиеся стремления ведут себя иначе, чем обычные, они позволяют достичь особенно совершенных результатов и оказывают такое же противодействие возражениям, как, например, симптомы невроза навязчивых состояний.

Содержание *Бсз* можно сравнить с психическими аборигенами. Если у человека есть унаследованные психические образования, нечто аналогичное инстинкту животных, то это составляет ядро *Бсз*[2]. Позднее к нему добавляется то, что было

[1] Ср. для примера «Предрасположение к неврозу навязчивых состояний» (1913).

[2] Вопрос о наследственности психических образований Фрейд обсуждал несколько позже в 23-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917), а также при анализе случая «Вольфсманна» (1918).

устранено в ходе детского развития как неприемлемое и что по своей природе не должно отличаться от унаследованного. Резкое и окончательное разделение содержания обеих систем, как правило, происходит только с наступлением пубертата.

7. РАСПОЗНАВАНИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Вот, пожалуй, и все, что можно сказать о *Бсз*, пока черпаешь материал только из сведений о жизни во сне и неврозах переноса. Разумеется, это не много; из-за этого порой возникает ощущение неясности и запутанности и, главное, нет возможности соотнести *Бсз* с уже известной взаимосвязью или включить это *Бсз* в нее. И только анализ заболеваний, которые мы называем нарциссическими психоневрозами, обещает дать нам понимание, благодаря которому загадочное *Бсз* станет для нас более близким, так сказать, осязаемым.

С тех пор как появилась работа Абрахама (1908), повод к которой, по мнению добросовестного автора, дал я, мы пытаемся охарактеризовать dementia praecox по Крепелину (шизофрению по Блейлеру) ее отношением к противоположности между Я и объектом. При неврозах переноса (истерии страха и конверсионной истерии, неврозе навязчивых состояний) не было ничего такого, что бы выдвинуло эту противоположность на передний план. Хотя было известно, что недоступность объекта ведет к возникновению невроза и что невроз влечет за собой отказ от реального объекта, а также что изъятое у реального объекта либидо возвращается к воображаемому объекту, а оттуда к вытесненному (интроверсия)[1]. Однако объектный катексис как таковой удерживается в этих случаях с большой энергией, а более тонкое исследование процесса вытеснения заставило нас предположить, что объектный катексис в системе *Бсз* продолжает существовать, несмотря на вытеснение, точнее, вследствие вытеснения. Ведь способность к переносу, которую мы в терапевтических целях используем при этих заболеваниях, предполагает сохранение объектного катексиса.

И наоборот, по поводу шизофрении у нас возникло предположение, что после процесса вытеснения изъятое либидо не ищет новый объект, а отступает в Я, что, стало быть,

---

[1] Этот процесс описывается, в частности, в разделе А работы Фрейда «О типах невротического заболевания» (1912).

объектные катексисы здесь исчезают и восстанавливается примитивное безобъектное состояние нарцисизма. Неспособность этих больных к переносу — в зависимости от того, насколько распространен болезненный процесс, — вытекающая из этого их недоступность для терапии, присущее им отвержение внешнего мира, появление признаков гиперкатексиса собственного Я, уход в полную апатию — все эти клинические особенности, по-видимому, целиком согласуются с гипотезой об исчезновении объектных катексисов. Что касается отношений между двумя психическими системами, то внимание всех наблюдателей привлекло к себе то обстоятельство, что при шизофрении сознательно выражается многое из того, что при неврозах переноса нам еще только нужно выявить в *Бсз* при помощи психоанализа. Однако первое время не удавалось установить понятную связь между отношением Я с объектом и соотношениями в сознании.

Искомая связь, похоже, выявляется следующим непредвиденным способом. При шизофрении, особенно на столь поучительных начальных стадиях, наблюдаются многочисленные изменения *речи*, причем некоторые из них заслуживают того, чтобы рассмотреть их с определенной точки зрения. Форма выражения часто оказывается предметом особой заботы, становится «изысканной», «напыщенной». Построение фраз подвергается особой дезорганизации, в результате чего они становятся для нас непонятными, и мы считаем высказывания больных бессмысленными. В содержании этих высказываний на передний план часто выдвигается отношение к органам тела или телесным иннервациям. К этому можно добавить, что в симптомах шизофрении, похожих на замещающие образования при истерии или при неврозе навязчивых состояний, отношения между заменой и вытесненным все же обнаруживают особенности, которые показались бы нам странными при обоих упомянутых неврозах.

Доктор В. Тауск (Вена) предоставил в мое распоряжение некоторые свои наблюдения при начинающейся шизофрении, которые отличаются тем преимуществом, что больная пока еще сама желала дать объяснение своим речам[1]. На двух его примерах я покажу, какую точку зрения намереваюсь отста-

[1] Работа, в которой также обсуждается эта пациентка, была опубликована Тауском (1919) позднее.

ивать; впрочем, я не сомневаюсь в том, что любому наблюдателю не составило бы труда привести такой материал в большом количестве.

Одна из больных Тауска, девушка, попавшая в клинику после ссоры со своим возлюбленным, жалуется:

Глаза неправильные, они закачены. Она сама это объясняет, в связной речи выдвигая ряд упреков в адрес возлюбленного. «Она совсем не может понять его, он каждый раз выглядит по-другому, он лицемер, *закатывает глаза*, он закатил ей глаза, теперь у нее закатившиеся глаза, это уже не ее глаза, она теперь смотрит на мир другими глазами».

Высказывания больной по поводу своей непонятной речи имеют ценность анализа, поскольку содержат ее эквивалент в общепонятных выражениях; в то же время они разъясняют значение и происхождение шизофренического словообразования. Соглашаясь с Тауском, я подчеркиваю в этом примере то, что отношение к органу (глазу) выступило как замена всего содержания [ее мыслей]. Шизофреническая речь имеет здесь ипохондрическую черту, она стала *языком органа*[1].

Другое сообщение той же больной: «Она стоит в церкви, вдруг ее толкают, она *должна встать по-другому, как будто ее кто-то поставил, как будто ее поставили*».

К этому относится анализ нового ряда упреков в адрес возлюбленного, «который вульгарен, который сделал ее, такую утонченную с малолетства, тоже вульгарной. Он сделал ее похожей на себя, заставив ее поверить, что превосходит ее; теперь она стала такой же, как он, потому что думала, что станет лучше, если будет похожа на него. Он притворялся, теперь она такая же, как и он (идентификация!), он ее *подменил*»[2].

Движение «встать по-другому», замечает Тауск, — это изображение слова «подменить» и идентификации с возлюбленным. Я снова подчеркиваю превалирование того элемента из всего хода мыслей, который имеет своим содержанием телесную иннервацию (точнее, ее ощущение). Впрочем, в первом случае истеричка судорожно закатила бы глаза, во втором — действительно произвела бы толчок, вместо того чтобы

[1] Ср. обсуждение Фрейдом ипохондрии в его работе о нарцизме (1914).

[2] Непереводимая игра слов: встать, поставить (stellen), притворяться (sich verstellen) и подменить (verstellen). — *Примечание переводчика.*

почувствовать импульс к этому или ощущение этого, и в обоих случаях у нее не было бы сознательной мысли об этом и впоследствии она была бы не в состоянии эту мысль выразить.

В общем и целом два этих наблюдения свидетельствуют в пользу того, что мы назвали ипохондрическим языком, или языком органов. Но они напоминают также — и это кажется нам более важным — о другом положении вещей, которое можно подтвердить бесконечным числом примеров, собранных, в частности, в монографии Блейлера (1911), и свести к определенной формуле. При шизофрении *слова* подвергаются тому же процессу, который из скрытых мыслей сновидения делает образы сновидения и который был назван нами *первичным психическим процессом*. Они сгущаются и без остатка переносят друг на друга свои катексисы посредством смещения; этот процесс может зайти так далеко, что подходящее благодаря своим многочисленным связям одно-единственное слово заменяет целую цепочку мыслей[1]. Работы Блейлера, Юнга и их учеников содержат богатый материал в поддержку этого утверждения[2].

Прежде чем сделать вывод из таких впечатлений, упомянем еще одно тонкое, но кажущееся странным различие между замещающими образованиями при шизофрении, с одной стороны, и при истерии и неврозе навязчивых состояний — с другой. Пациент, которого я в настоящее время наблюдаю, из-за плохого состояния кожи лица оказался лишен всех жизненных интересов. Он утверждает, что на лице у него угри и глубокие дыры, которые видны каждому. Анализ доказывает, что на своей коже он проигрывает комплекс кастрации. Сначала он без сожаления занимался своими угрями, выдавливание которых доставляло ему большое удовлетворение, потому что, как он говорит, при этом из них что-то брызгало. Затем он начал считать, что везде, где он удалял угри, возникала глубокая ямка, и он нещадно бранил себя за то, что из-за

[1] «Толкование сновидений» (1900).

[2] Иногда работа сновидения обращается со словами, как с вещами, и тогда создает очень сходные «шизофренические» речи или словесные новообразования. См. «Толкование сновидений» (1900). В «Метапсихологическом дополнении к теории сновидений» Фрейд, напротив, проводит различие между процессами сновидения и процессами при шизофрении.

этой «постоянной возни с рукой» навсегда загубил свою кожу. Очевидно, что выдавливание содержимого угрей является для него заменой онанизма. Ямка, возникающая после этого по его вине, — это женские гениталии, то есть исполнение спровоцированной онанизмом угрозы кастрации (или замещающей ее фантазии). Это замещающее образование, несмотря на свой ипохондрический характер, имеет много общего с истерической конверсией. И все же возникает чувство, что здесь, должно быть, происходит нечто другое, что на такое замещающее образование истерия не способна, причем еще до того, как появляется возможность сказать, на чем это различие основано. Крохотную ямку, такую как кожная пора, истерик едва ли превратит в символ вагины, которую он обычно сравнивает со всевозможными предметами, содержащими полость. Мы также считаем, что множество ямок будет удерживать его от того, чтобы использовать их как замену женских гениталий. То же самое относится к одному юному пациенту, о котором Тауск несколько лет назад сообщал в Венском психоаналитическом обществе. Обычно этот пациент вел себя в точности как человек, страдающий неврозом навязчивых состояний, часами совершал свой туалет и т. п. Но обращало на себя внимание то, что он без всякого сопротивления мог рассказывать о значении своих затруднений. Когда, например, он надевал чулки, ему мешала идея, что он может растянуть петли ткани, то есть отверстия, а каждое отверстие было для него символом женского полового отверстия. Такого также нельзя предполагать у невротика, страдающего навязчивостями. Такой больной (которого наблюдал Р. Райтлер), страдавший такими же затруднениями при надевании чулок, после преодоления сопротивлений нашел следующее объяснение: нога — это символ пениса, а натягивание чулка — акт онанизма, и он был вынужден постоянно надевать и снимать чулок отчасти для того, чтобы усовершенствовать картину онанизма, отчасти, чтобы ее аннулировать.

Если задать вопрос, что придает странный характер шизофреническому замещающему образованию и симптому, то в конце концов мы поймем: это преобладание словесных отношений над предметными. Между выдавливанием угря и эякуляцией из пениса существует весьма незначительное предметное сходство, и еще меньшее — между многочисленными мелкими порами кожи и вагиной; но в первом случае оба раза

что-то выбрызгивается, а ко второму случаю буквально относится циничная фраза: «Дырка есть дырка». Сходство словесного выражения, а не сходство обозначаемых вещей продиктовало замену. Там, где они — слово и вещь — не совпадают, шизофреническое замещающее образование отличается от такового при неврозах переноса.

Сопоставим этот выявленный факт с гипотезой, что при шизофрении объектные катексисы исчезают. В таком случае мы должны модифицировать формулировку: катексис словесных представлений объектов сохраняется. То, что мы можем назвать сознательным объектным представлением, теперь распадается для нас на *словесное представление* и *предметное представление*[1], которое состоит в катексисе, если не непосредственных образов воспоминания о предметах, то, по меньшей мере отдаленных и произошедших от них следов воспоминаний. Теперь нам сразу становится ясным, чем сознательное представление отличается от бессознательного. И то и другое не является, как мы полагали, разными записями одного и того же содержания в разных психических местах или разными функциональными состояниями катексиса в том же самом месте — сознательное представление включает в себя предметное представление плюс соответствующее словесное представление, а бессознательное представление состоит только из предметного. Система *Бсз* содержит предметные катексисы объектов, первые и настоящие объектные катексисы; система *Псз* возникает, когда это предметное представление гиперкатектируется благодаря связи с соответствующими ему словесными представлениями. Именно такие гиперкатексисы, как мы можем предположить, приводят к появлению более высокой психической организации и содействуют замене первичного процесса господствующим в *Псз* вторичным процессом. Мы также можем теперь точно сказать, в чем именно отказывает вытеснение при неврозах

[1] В «Печали и меланхолии» Фрейд для выражения «предметное представление» употребляет синоним «вещественное представление»; этот термин он использовал еще раньше, а именно в «Толковании сновидений» (1900), а также в своей книге об остроумии (1905). Таким образом, он уже «в духе» проводил различие между «словесными представлениями» и «предметными», когда писал эти более ранние сочинения; это различение, несомненно, можно датировать исследованиями афазии, проведенными Фрейдом. В своей монографии на эту тему (1891) он детально останавливается на этом, но использует несколько иную терминологию.

переноса отвергнутому представлению: в переводе в слова, которые должны оставаться связанными с объектом. В таком случае необлеченное в слова представление или негиперкатектированный психический акт остается в *Бсз* в виде вытесненного.

Я должен обратить внимание на то, как давно мы уже обладали знанием, благодаря которому нам сегодня становится понятной одна из самых удивительных особенностей шизофрении. На последних страницах опубликованного в 1900 году «Толкования сновидений» отмечается, что мыслительные процессы, то есть более отдаленные от восприятия акты катексиса, сами по себе не обладают качеством, являются бессознательными и приобретают способность стать осознанными только благодаря связи с остатками словесных восприятий[1]. В свою очередь, словесные представления происходят от чувственных восприятий точно так же, как и предметные представления, поэтому возникает вопрос, почему объектные представления не могут осознаваться благодаря их собственным остаткам восприятия. Но, вероятно, процесс мышления осуществляется в таких системах, которые настолько удалены от изначальных остатков восприятия, что в них больше ничего не остается от их качеств и для осознания требуется усиление новыми качествами. Кроме того, благодаря связи со словами могут наделяться качеством также такие катексисы, которые от самих восприятий никакого качества получить не могли, потому что они просто соответствуют отношениям между объектными представлениями. Такие отношения, ставшие понятными только благодаря словам, являются главной составляющей наших мыслительных процессов. Мы понимаем, что связь со словесными представлениями еще не совпадает с осознанием, а лишь создает возможность для этого, то есть что она характеризует только одну систему — систему *Псз*[2]. Однако тут мы замечаем, что этими рассуждениями мы уходим от нашей непосредственной темы и попадаем в самую гущу проблем пред-

[1] «Толкование сновидений» (1900). На самом деле Фрейд изложил эту гипотезу еще раньше, а именно в своем (хотя и неопубликованном) «Проекте» 1895 года (1950, примерно в начале I раздела части III). Он также упоминает ее в своей работе «Положения о двух принципах психического события» (1911).

[2] Фрейд снова обратился к этой теме в начале главы 2 работы «Я и Оно» (1923).

сознательного и бессознательного, которые мы считаем целесообразным отложить до отдельного обсуждения[1].

В случае шизофрении, которой мы здесь касаемся лишь в той мере, в какой нам это кажется необходимым для общего распознавания *Бсз*, нам приходится усомниться в том, имеет ли вообще процесс, названный здесь вытеснением, что-нибудь общее с вытеснением при неврозах переноса. Формулировка, что вытеснение — это процесс, происходящий между системами *Бсз* и *Псз* (или *Сз*), результатом которого является отдаление от сознания, несомненно, нуждается в корректировке, чтобы можно было включить в нее случай dementia praecox и других нарциссических заболеваний. Однако попытка к бегству Я, выражающаяся в изъятии сознательного катексиса, в качестве общего признака [двух этих классов неврозов] все-таки остается. Насколько основательнее и радикальнее совершается эта попытка к бегству, это бегство Я при нарциссических неврозах, становится ясным даже из самого поверхностного рассуждения.

Если при шизофрении это бегство состоит в изъятии катексиса влечений из мест, которые репрезентируют *бессознательное* объектное представление, то, пожалуй, покажется странным, что часть этого же объектного представления, относящаяся к системе *Псз* (соответствующие ему словесные представления), должна подвергнуться гораздо более интенсивному катексису. Скорее можно было бы ожидать, что словесное представление как предсознательный компонент должно выдержать первый удар вытеснения и что оно становится абсолютно недоступным катексису после того, как вытеснение продолжалось вплоть до бессознательных предметных представлений. Однако понять это сложно. Получается, что катексис словесного представления к акту вытеснения не относится, а представляет собой первую из попыток исцеления или выздоровления, которые столь явно преобладают в клинической картине шизофрении[2]. Эти усилия направлены на то, чтобы обрести заново потерянные объекты, и вполне возможно, что с этой целью больной прокладывает путь к объекту через его словесную часть, но при этом он вынужден до-

[1] Вероятно, это снова является указанием на неопубликованную работу о сознании.

[2] См. часть III проведенного Фрейдом анализа Шребера (1911).

вольствоваться словами вместо предметов. Ведь наша душевная деятельность как таковая осуществляется в двух противоположных направлениях: либо от влечений через систему *Бсз* к сознательной мыслительной работе, либо под воздействием извне через систему *Сз* и *Псз* — к бессознательным катексисам Я и объектов. Этот второй путь, несмотря на происшедшее вытеснение, должно быть, остается проходимым и отчасти открыт для попыток невроза вновь обрести объекты. Когда мы мыслим абстрактно, нам угрожает опасность упустить из виду отношения между словами и бессознательными предметными представлениями, и нельзя отрицать, что тогда наше философствование приобретает по содержанию и форме выражения нежелательное сходство с методом работы больных шизофренией[1]. С другой стороны, можно попытаться охарактеризовать образ мышления шизофреников: они обходятся с конкретными вещами так, словно они абстрактные.

Если мы действительно распознали *Бсз* и верно определили отличие бессознательного представления от предсознательного, то наши исследования должны привести нас из многочисленных других мест к такому пониманию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФРЕЙД И ЭВАЛЬД ГЕРИНГ

[К числу преподавателей, работы которых Фрейд изучал в студенческие годы, принадлежал также физиолог Эвальд Геринг (1834–1918), который, как мы узнаем от Джонса (1960, 265), однажды предложил молодому человеку место ассистента в Праге; вероятно, это было примерно в 1882 г., когда Фрейд еще работал в Физиологическом институте у Брюкке; Геринг приехал в Прагу в 1870 г. в качестве ординарного профессора. Примечание, написанное Фрейдом примерно пятьдесят лет спустя, на которое обратил внимание Эрнст Крис (1956), пожалуй, указывает на то, что Геринг оказал некоторое влияние на представления Фрейда о бессознательном. В 1880 г. Сэмюель Батлер опубликовал книгу под названием «Бессознательная память» и включил в нее перевод доклада,

[1] Эту точку зрения Фрейд изложил еще в конце второго эссе в книге «Тотем и табу» (1912–1913).

прочитанного Герингом в 1880 г., под названием «О памяти как общей функции организованной материи», с содержанием которого Батлер был в основном согласен. Затем в 1923 г. в Англии вышла книга Израэля Ливайна, озаглавленная «Бессознательное»; в 1926 г. появился немецкий перевод этой работы, сделанный Анной Фрейд. Однако раздел, написанный Сэмюелем Батлером (часть I, § 13), Фрейд перевел сам. Хотя автор, Ливайн, упоминает доклад Геринга, он все же уделяет больше внимания идеям Батлера, а не Геринга, и здесь (с. 34–35 немецкого перевода) Фрейд добавил следующее примечание]:

«Немецкий читатель, которому вышеупомянутый доклад Геринга известен как творение великого мастера, разумеется, далек от того, чтобы выдвигать на передний план рассуждения Батлера. Между тем у Геринга можно найти меткие замечания, которые признают за физиологией право принятия бессознательной душевной деятельности: “Кто мог бы после этого надеяться, что сумеет распутать тысячекратные переплетения в ткани нашей внутренней жизни, если они происходят только в сознании? — <...> Такие цепочки бессознательных материальных нервных процессов, к которым в конечном счете добавляется звено, сопровождаемое сознательным восприятием, назвали рядами представлений и бессознательными умозаключениями, и с точки зрения физиологии это тоже можно обосновать. Ибо психология довольно часто упускала из виду душу, если не желала фиксироваться на ее бессознательных состояниях”» [Hering, 1870, 11 и 13][1].

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ

[Выше уже отмечалось, что на ранние представления Фрейда об отношениях между психикой и нервной системой значительное влияние оказал своими идеями Хьюлингс Джексон. Особенно это проявляется в следующем пассаже, взятом из его монографии об афазиях (1891). Интересно также срав-

[1] В работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) еще одна ссылка на Эвальда Геринга свидетельствует о том, что его представления повлияли также на теорию Фрейда о дуалистическом разделении влечений.

нить последние тезисы на тему латентных воспоминаний с более поздней позицией Фрейда.]

После этого отступления возвратимся к пониманию афазии и вспомним о том, что на основе теории Мейнерта возникло предположение, согласно которому речевой аппарат состоит из различных корковых центров, в клетках которых содержатся словесные представления, и эти центры разделяются не имеющей функции корковой областью и соединяются белыми волокнами (ассоциативным пучком). Теперь вначале можно задать вопрос, корректна и допустима ли вообще гипотеза подобного рода, которая отсылает представления в клетки. Думаю, нет.

В отличие от стремления прежних медицинских эпох локализовать в определенных участках мозга все душевные способности подобно тому, как они разграничиваются в лексиконе психологии, должно было показаться большим шагом вперед, когда Вернике заявил, что можно локализовать только самые простые психические элементы, отдельные чувственные представления, а именно в центральном окончании периферических нервов, которое восприняло впечатления. Но не совершают ли, в сущности, ту же самую принципиальную ошибку, когда пытаются теперь локализовать сложное понятие, всю душевную деятельность или один психический элемент? Правомерно ли погружать нервное волокно, которое на всем своем протяжении представляло собой всего лишь физиологическое образование и подвергалось физиологическим модификациям, одним его концом в психическое, а этот конец наделять представлением или образом воспоминания? Если «воля», «интеллект» и т. п. признаны искусственно образованными психологическими понятиями, которым в физиологическом мире соответствуют очень сложные отношения, то разве знают с большей определенностью о «простом чувственном представлении», что оно есть нечто иное, чем такое искусственно образованное понятие?

Вероятно, цепочка физиологических процессов в нервной системе не находится в отношениях каузальности с психическими процессами. Физиологические процессы не прекращаются, как только начались психические; напротив, физиологическая цепочка продолжается, разве что каждое ее звено (или отдельные звенья) с какого-то определенного момента соответствует психическому феномену. Тем самым психиче-

ское выступает как параллельный процесс физиологического («a dependent concomitant»)[1].

Мне прекрасно известно, что ученых, взгляды которых я здесь оспариваю, нельзя подозревать в том, что, не имея на то оснований, они пошли бы на такое изменение научного подхода[2]. Очевидно, они имели в виду только следующее: видоизменение нервных волокон — относящееся к физиологии — при чувственном возбуждении создает другое видоизменение в центральных нервных клетках, которое теперь становится физиологическим коррелятом «представления». Поскольку они могут сказать о представлении гораздо больше, чем о неизвестных видоизменениях, которые пока еще не удалось охарактеризовать физиологически, они пользуются эллиптическим выражением: в нервной клетке локализовано представление. Однако это сразу же приводит к смешению двух вещей, у которых нет между собой никакого сходства. В психологии простое представление является для нас чем-то элементарным; мы можем четко отделить его от его соединений с другими представлениями. Таким образом, мы приходим к предположению, что и его психологический коррелят, видоизменение, которое исходит от возбужденных, оканчивающихся в центре нервных волокон, является чем-то простым, и его можно локализовать в определенном пункте. Разумеется, такой перенос не совсем оправдан; свойства этого видоизменения должны определяться сами по себе и независимо от его психологического коррелята[3].

---

[1] «Зависимое сопутствующее обстоятельство» (*англ.*). — Это выражение принадлежит Хьюлингсу Джексону.

[2] То есть перешли от физиологического способа рассмотрения к психологическому.

[3] Хьюлингс Джексон строго-настрого предостерегал от такого смешения физического с психическим в речевом процессе: *«In all our studies of diseases of the nervous system we must be on our guard against the fallacy, that what are physical states in lower centres fine away into psychical states in higher centres; that for example, vibrations of sensory nerves become sensations, or that somehow or another an idea produces a movement»* (1878, 306). [«Во всех наших исследованиях заболеваний нервной системы мы должны остерегаться ошибки — полагать, что физические состояния в низших центрах утончаются, переходя в психические состояния в высших центрах; что, например, колебания чувствительных нервов *становятся* ощущениями или что тем или иным образом идея порождает движение».]

Что же является физиологическим коррелятом простого или повторяющегося представления? Очевидно, отнюдь не нечто неподвижное, а что-то носящее характер процесса. У этого процесса есть локализация, он исходит из особого места коры головного мозга и оттуда распространяется по всей коре или вдоль особых путей. Если этот процесс произошел, то в пораженной им коре головного мозга он оставляет после себя видоизменение, возможность воспоминания. Весьма сомнительно, чтобы это видоизменение точно так же соответствовало чему-то психическому; наше сознание не обнаруживает ничего такого, что с психической стороны могло бы оправдать название «латентный образ воспоминания». Но всякий раз, когда опять создается то же самое состояние коры, в виде образа воспоминания вновь возникает психическое…

ПРИЛОЖЕНИЕ В

СЛОВО И ПРЕДМЕТ

[Создается впечатление, что заключительный раздел статьи Фрейда «Бессознательное» имеет свои корни в ранней монографии об афазиях (1891). Поэтому, здесь, наверное, будет интересно представить отрывок из той работы, который, хотя и непрост для понимания, может все же пролить свет на гипотезы, лежащие в основе некоторых более поздних представлений Фрейда. Кроме того, данный отрывок интересен еще и тем, что Фрейд совершенно непривычно для нас предстает в нем ученым, говорящим профессиональным языком «академической» психологии конца XIX столетия. Процитированному здесь фрагменту предшествует целый ряд отрицающих и подтверждающих анатомических и физиологических аргументов, в конечном счете приведших Фрейда к той гипотетической схеме неврологических функций, которую он затем описывает как «речевой аппарат». Однако следует отметить, что между используемой здесь терминологией и словоупотреблением в статье «Бессознательное» существует важное и, пожалуй, сбивающее с толку различие. То, что он здесь называет «объектным представлением», в работе «Бессознательное» называется «предметным представлением»; и наоборот, под тем, что в «Бессознательном» обозначается термином «объектное представление», понимается комплекс, состоящий из «предметного представления» и «словесного представления». В процитиро-

ванном далее отрывке этот комплекс пока еще названия не имеет. В оригинальном немецком издании приведенный фрагмент находится на с. 74–81.]

Теперь мы хотим посмотреть, какие гипотезы потребуются нам для объяснения нарушений речи на основе такого строения речевого аппарата, другими словами, что дает нам изучение нарушений речи для понимания функции этого аппарата. При этом мы хотим по возможности отделить друг от друга психологическую и анатомическую стороны предмета.

В психологии единицей речевой функции является «слово», комплексное представление, состоящее из акустических, зрительных и кинестетических элементов. Знанием об этом составе мы обязаны патологии, которая показывает нам, что при органических поражениях в речевом аппарате происходит распад речи на эти составляющие. Таким образом, мы готовы к тому, что выпадение одного из этих элементов словесного представления окажется важнейшим признаком, который позволит нам сделать вывод о локализации заболевания. Обычно приводят четыре компонента словесного представления: «звуковой образ», «зрительный образ букв», «образ речевой моторики» и «образ движений при письме». Однако этот состав окажется еще более сложным, если рассмотреть вероятный ассоциативный процесс при осуществлении отдельных речевых функций.

(1) Мы учимся говорить, ассоциируя *«образ звучания слова»* с *«чувством словесной иннервации»*. Сказав слово, мы приобрели *«представление о речевой моторике»* (центростремительные ощущения от органов речи), а потому в смысле моторики «слово» определено для нас двояким образом. Из двух определяющих элементов, первый — представление о словесной иннервации — в психологическом отношении, по-видимому, имеет самое ничтожное значение, более того, мы вообще можем оспорить его наличие как психического фактора. Кроме того, после произнесения слова мы получаем его «звуковой образ». До тех пор пока наша речь не особенно развита, этот второй звуковой образ нужен первому лишь ассоциативно и ему не подобен[1]. На этой ступени (речевого раз-

[1] Второй звуковой образ — это образ слова, которое мы произносим сами; первый (упомянутый в начале абзаца) звуковой образ — это образ слова, которому мы подражаем.

вития ребенка) мы пользуемся самостоятельно созданным языком, при этом мы ведем себя, как люди, страдающие моторной афазией, ассоциируя различные незнакомые звучания слов с одним-единственным словом, созданным самостоятельно.

(2) Мы учимся языку других людей, стараясь по возможности уподобить продуцированный нами самими звуковой образ тому, что дало повод к речевой иннервации. Так мы учимся *«повторять за другими»*. Затем при *«взаимосвязанной речи»* мы упорядочиваем слова, благодаря иннервации ожидая следующего слова до тех пор, пока звуковой образ или представление о речевой моторике (или то и другое) не достигнет предыдущего слова. Поэтому надежность нашей речи кажется сверхдетерминированной, и мы можем легко переносить выпадение того или иного определяющего момента. Между тем таким отсутствием корректировки со стороны второго звукового образа и образа речевой моторики объясняются некоторые особенности — физиологической и патологической — парафазии.

(3) Мы учимся *читать по складам,* соединяя зрительные образы букв с новыми звуковыми образами, которые между тем должны нам напоминать об уже известных звучаниях слов. Звуковой образ, обозначаемый буквами, мы сразу же произносим, так что буква опять-таки, по-видимому, определяется двумя звуковыми образами, которые совпадают, и двумя моторными представлениями, соответствующими друг другу.

(4) Мы учимся *читать,* по определенным правилам соединяя последовательность представлений о словесных иннервациях и о речевой моторике, которые мы получаем при произнесении отдельных букв, в результате чего возникают новые моторные словесные представления. После того как последние были произнесены, благодаря образу звучания этих новых словесных представлений мы обнаруживаем, что оба образа речевой моторики и звучания слова, полученные нами таким способом, нам давно известны и идентичны образам, которые использовались при произнесении. Мы ассоциируем эти речевые образы, полученные при чтении по складам, со значением, которое придавалось первичным звучаниям слова. Теперь мы читаем с пониманием. Если первоначально мы говорили не на литературном языке, а на диалекте, то теперь мы

должны сверхассоциировать образы речевой моторики и образы звучания, полученные при чтении по складам, со старыми; тем самым мы обучаемся новому языку, что облегчается сходством диалекта и письменной речи.

Из этого описания обучения чтению видно, что оно представляет собой сложный процесс, которому должно соответствовать повторяющееся колебание ассоциативного направления. Далее, мы готовы к тому, что нарушения чтения при афазии должны возникать самым разным способом. Определяющим для выпадения зрительного элемента при чтении будет просто *нарушение чтения букв*. Составление букв в слово происходит при переносе на речевой путь, следовательно, при моторной афазии оно будет отсутствовать. Понимание прочитанного происходит только посредством звуковых образов, полученных при произнесении слов, или посредством образов речевой моторики, возникших при говорении. Следовательно, это оказывается такой функцией, которая выпадает не только при моторной, но и при акустической афазии, кроме того, функцией, которая не зависит от чтения. Самонаблюдение показывает каждому, что существует несколько видов чтения, из которых тот или иной не связан с пониманием прочитанного. Если я читаю корректуру и при этом намерен уделить особое внимание зрительным образам букв и другим шрифтовым символам, то смысл прочитанного ускользает от меня настолько, что для стилистических исправлений мне потребуется специально прочесть ее еще раз. Если я читаю книгу, которая меня заинтересовала, например роман, то я не замечу никаких опечаток, и может случиться так, что в моей голове ничего не останется от имен действующих там персонажей, кроме беспорядочной вереницы и воспоминания о том, длинные они или короткие, и что они содержат запоминающиеся буквы *x* или *z*. Если мне нужно читать вслух и при этом уделять особое внимание звуковым образам своих слов и интервалам между ними, то я снова рискую слишком мало заботиться о смысле, и стоит мне устать, как я начинаю читать так, что другой человек, возможно, еще что-то и поймет, но сам я уже не знаю, что прочитал. Это феномены распределенного внимания, которые именно здесь следует рассмотреть, поскольку понимание прочитанного происходит только таким длинным окольным путем. То, что о таком понимании уже не может быть и речи, если сам процесс чтения вызывает труд-

ности, станет ясным по аналогии с нашим поведением при обучении чтению, и мы должны остерегаться считать отсутствие такого понимания признаком прерывания пути. Чтение вслух нельзя считать другим процессом по сравнению с чтением про себя, разве что оно помогает отвлечь внимание от сенсорной части процесса чтения.

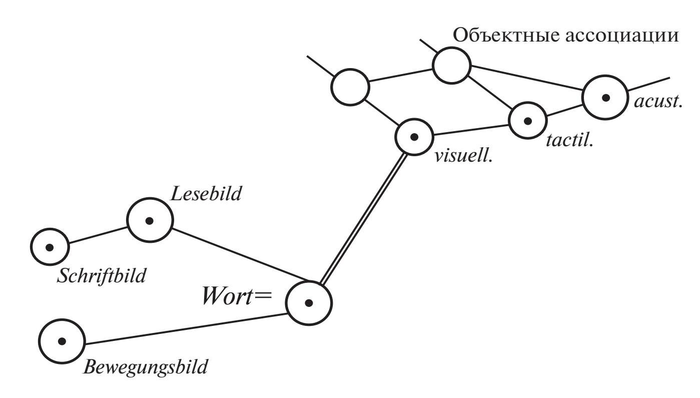
(5) Мы учимся *писать*, воспроизводя зрительные образы букв посредством образов иннервации руки, пока не возникают такие же или похожие зрительные образы. Как правило, образы написанного лишь подобны образам прочитанного и сверхассоциированны, поскольку мы читаем типографский шрифт и учимся писать рукописным шрифтом. Письмо оказывается относительно более простым процессом, который не так легко нарушить, как чтение.

(6) Можно предположить, что и в дальнейшем мы осуществляем отдельные речевые функции по тем же ассоциативным путям, по которым мы им обучились. При этом могут совершаться сокращения и замещения, но не всегда легко сказать, каковы они по своей природе. Их значение умаляется еще и тем замечанием, что в случаях органического поражения речевой аппарат, вероятно, в определенной степени повреждается в целом и становится вынужденным вернуться к первоначальным, надежным и более обстоятельным формам ассоциации. При чтении у людей, обладающих соответствующим навыком, несомненно, сказывается влияние «зрительного *образа слова*», и поэтому отдельные слова (имена собственные) могут быть прочитаны также без разбора по буквам.

Итак, слово — это комплексное, состоящее из указанных образов представление, или, выражаясь иначе, слову соответствует сложный ассоциативный процесс, в котором указанные элементы визуального, акустического и кинестетического происхождения вступают в связь друг с другом.

Вместе с тем слово получает свое значение благодаря соединению с «объектным представлением» по крайней мере если мы ограничим свое рассмотрение существительными. Само объектное представление — это опять-таки ассоциативный комплекс, состоящий из самых разных визуальных, акустических, тактильных, кинестетических и прочих представлений. Кроме того, мы знаем из философии, что объектное представление ничего другого не содержит, что видимость «вещи», о различных «свойствах» которой говорят те чув-

ственные впечатления, возникает только благодаря тому, что при перечислении чувственных впечатлений, которые мы получили от предмета, мы учитываем также возможность наличия целого ряда новых впечатлений в той же самой ассоциативной цепочке (Дж.С. Милль)[1]. Следовательно, объектное представление не кажется нам закрытым, едва ли способным быть закрытым, тогда как словесное представление кажется нам чем-то закрытым, хотя и способным к расширению.



Lesebild — образ прочитанного
Schriftbild — образ написанного
Bewegungsbild — образ движения
Wort = — слово =
Вверху слева направо: визуальные, тактильные, акустические

Рис. 1. Изображение работы афазии

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СЛОВЕСНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Словесное представление проявляется как закрытый комплекс представлений, объектное представление, напротив, как открытое. Словесное представление связано с объектным представлением не всеми своими составными частями, а только звуковым образом. Из объектных ассоциаций только визуальные представляют объект подобно тому, как зву-

[1] *Mill J.St.*, Logik I, глава 3, и An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy (1865).

ковой образ представляет слово. Связи звукового образа слова с объектными ассоциациями, отличными от визуальных, на рисунке не представлены.

Утверждение, которое мы теперь должны сделать на основании патологии речевых нарушений, сводится к тому, *что словесное представление своим чувствительным концом (посредством звуковых образов) привязано к объектному представлению*. Тем самым мы приходим к тому, чтобы предположить наличие двух классов нарушений речи: (1) афазии первого порядка, *вербальной афазии*, при которой нарушены лишь ассоциации между отдельными элементами словесного представления, и (2) афазии второго порядка, *асимволической афазии*, при которой нарушена ассоциация словесных и объектных представлений.

Я использую название «асимволия» в другом значении, а не в том, которое вошло в употребление после Финкельнбурга[1], поскольку, на мой взгляд, отношение между словесным [представлением] и объектным представлением скорее заслуживает наименования «символический», нежели отношение между объектом и объектным представлением. Нарушения распознавания предметов, которые Финкельнбург объединяет названием «асимволия», я бы предложил называть *«агнозией»*. Тогда было бы возможно, что агностические нарушения, которые могут возникать только при двусторонних обширных поражениях коры головного мозга, влекут за собой также нарушение речи, поскольку все стимулы к спонтанной речи происходят из области объектных ассоциаций. Такие нарушения речи я бы назвал *афазиями третьего порядка*, или *агностическими афазиями*. Клиника действительно познакомила нас с несколькими случаями, которые требуют такого понимания...

[1] По Шпамеру (1876). Этот термин был введен Финкельнбургом (1871).

ВЫТЕСНЕНИЕ (1915)

Судьба импульса влечения может быть определена тем, что он наталкивается на сопротивление, которое хочет сделать его недейственным. Тогда при определенных условиях, подробное исследование которых нам предстоит провести, он приходит в состояние *вытеснения*. Если бы речь шла о воздействии внешнего раздражителя, то, очевидно, самым подходящим средством было бы бегство. В случае же влечения бегство ничем помочь не может, потому что Я не может убежать от самого себя. Позднее будет найдено хорошее средство против импульсов влечения в виде отвергающего суждения *(осуждения)*. Предварительная ступень осуждения, что-то среднее между бегством и осуждением — это вытеснение, понятие которого до психоаналитических исследований не могло быть сформировано.

Теоретически вывести возможность вытеснения непросто. Почему импульс влечения должна была постигнуть такая участь? Очевидно, здесь должно быть выполнено определенное условие, которое заключается в том, что достижение цели влечения вместо удовольствия вызывает неудовольствие. Но этот случай трудно себе представить. Таких влечений не бывает, удовлетворение влечения всегда исполнено удовольствием. Поэтому следует предположить наличие особых условий, какого-то процесса, в результате которого удовольствие, получаемое от удовлетворения влечения, превращается в неудовольствие.

Для лучшего разграничения вытеснения мы можем включить в обсуждение некоторые другие ситуации, связанные с влечениями. Может случиться так, что внешний раздражитель, например, в результате того, что он разъедает и разрушает орган, становится внутренним и, таким образом, служит новым источником постоянного возбуждения и возрастающего напряжения. Тем самым он приобретает большое сходство с

влечением. Мы знаем, что ощущаем в подобном случае *боль*. Однако цель этого псевдовлечения состоит только в том, чтобы прекратить изменение органа и связанное с ним неудовольствие. Другого, непосредственного удовольствия в результате прекращения боли получить нельзя. Боль также императивна; ее можно устранить только с помощью токсических средств и психического отвлечения.

Случай боли слишком мало очевиден, чтобы чем-то помочь для достижения нашего намерения[1]. Возьмем другой случай, когда раздражение, проистекающее из влечения, например голод, остается неудовлетворенным. Тогда оно становится императивным, его нельзя ничем успокоить, кроме как с помощью действия, направленного на удовлетворение[2], и оно поддерживает постоянное напряжение. Здесь не может быть и речи о чем-либо похожем на вытеснение.

Таким образом, вытеснения, разумеется, нет, если напряжение, возникшее из-за неудовлетворения импульса влечения, становится невыносимо большим. Какими средствами защиты от этой ситуации располагает организм, будет рассмотрено в другом контексте.

Давайте лучше будем придерживаться клинического опыта, с которым мы сталкиваемся в психоаналитической практике. Он учит нас, что удовлетворение влечения, подлежащего вытеснению, вполне возможно и что оно всякий раз было бы исполнено удовольствия, но было бы несовместимо с другими требованиями и намерениями, то есть оно вызывало бы удовольствие в одном месте и неудовольствие — в другом. В таком случае условием вытеснения становится то, что мотив неудовольствия приобретает большую силу, чем удовольствие от удовлетворения. Далее, психоаналитический опыт работы с неврозами переноса заставляет нас сделать вывод, что вытеснение — это не некий существующий изначально защитный механизм, что оно может возникнуть не раньше,

[1] Боль и средства организма для преодоления боли рассматриваются в главе 4 работы «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Эта тема была затронута еще в VI разделе («Боль») части I «Проекта» (1950 [1895]); она также упоминается в заключительных абзацах работы «Торможение, симптом и страх» (1926).

[2] В I разделе («Первое главное положение: количественный подход») части I «Проекта» (1950 [1895]) говорится: с помощью «специфического действия».

чем произойдет четкое разделение на сознательную и бессознательную душевную деятельность, и что *сущность его состоит лишь в уклонении и отстранении от сознания*. Такое понимание вытеснения следовало бы дополнить предположением, что до этой ступени душевной организации с задачей защиты от побуждений справляются другие судьбы влечений, такие как превращение в противоположность и обращение против собственной персоны.

Мы теперь считаем также, что вытеснение и бессознательное настолько соотносятся друг с другом, что нам придется отложить углубленное изучение сущности вытеснения, пока мы не узнаем больше о строении психических инстанций и отличии бессознательного от сознательного. Пока же мы можем лишь только чисто описательно сопоставить некоторые клинически установленные особенности вытеснения, рискуя без изменений повторить многое из того, что уже было сказано в другом месте.

Итак, у нас есть основание предполагать наличие *первичного вытеснения,* первой фазы вытеснения, которая заключается в том, что психическая репрезентация влечения (представление) лишается доступа к сознанию. Этим создается *фиксация*; соответствующая репрезентация отныне остается неизменной, и с нею связано влечение. Это происходит из-за особенностей бессознательных процессов, которые будут обсуждаться позднее.

Вторая ступень вытеснения, *собственно вытеснение,* касается психических дериватов вытесненной репрезентации или такого хода мыслей, который, происходя из других источников, оказался в ассоциативной связи с ними. Вследствие этой связи эти представления ждет та же участь, что и первично вытесненное. Следовательно, собственно вытеснение — это послеподавление[1]. Впрочем, было бы неправильно делать акцент только на отталкивании, действующем со стороны сознания на вытесняемое. Речь также идет о притяжении, которое первично вытесненное оказывает на все, с чем оно может

[1] Фрейд использует это понятие также при описании процесса в анализе Шребера (1911), а также в своей работе «Бессознательное» (1915). Однако, когда по прошествии двадцати с лишним лет, в III разделе «Конечного и бесконечного анализа» (1937) Фрейд снова обратился к этой теме, он говорил о «послевытеснении» (*Studienausgabe*, дополнительный том, с. 368).

вступить в ассоциативную связь. Вероятно, тенденция к вытеснению не достигла бы своей цели, если бы эти силы не взаимодействовали, если бы не было ранее вытесненного, готового принять то, что было отвергнуто сознанием[1].

Под влиянием изучения психоневрозов, демонстрирующего нам важнейшие последствия вытеснения, мы склонны переоценивать его психологическое содержание и слишком легко забываем, что вытеснение не препятствует тому, чтобы репрезентация влечения продолжала существовать в бессознательном, организовывалась, образовывала дериваты и вступала в ассоциативные связи. Фактически вытеснение нарушает только связь с определенной психической системой, с сознанием.

Психоанализ может показать нам еще нечто важное для понимания последствий вытеснения при психоневрозах. Например, то, что репрезентация влечения развивается беспрепятственно и более содержательно, если благодаря вытеснению она лишена сознательного влияния. Она, так сказать, разрастается в темноте и находит крайние формы выражения, которые, если их переводят и предъявляют невротику, не только кажутся ему чуждыми, но и пугают его мистификацией необычайной и опасной силы влечения. Эта обманчивая сила влечения есть результат его свободного проявления в фантазии и запруживания из-за отсутствия удовлетворения. То, что этот последний результат связан с вытеснением, указывает на то, в чем нам нужно искать его истинное значение.

Но, еще раз возвращаясь к противоположному мнению, мы констатируем: совершенно неверно, что вытеснение не допускает в сознание все дериваты первично вытесненного[2]. Если они достаточно отдалены от вытесненной репрезентации, будь то вследствие включения искажений или из-за множества вставленных промежуточных звеньев, доступ в сознание оказывается для них совершенно свободным. Получается, как

---

[1] Правда, для описания двухступенчатого вытеснения в этом и предыдущем абзаце есть несколько иная, более ранняя формулировка в III разделе анализа Шребера (1911) и в письме к Ференци от 6 декабря 1910 года (Jones, 1962). См. также сделанное в 1914 году дополнение к «Толкованию сновидений» (1900).

[2] Тема, затронутая в этом абзаце, подробнее обсуждается в VI разделе работы «Бессознательное» (1915*e*).

будто сопротивление сознания является функцией их удаления от первично вытесненного. Применяя психоаналитическую технику, мы постоянно требуем от пациента продуцировать такие дериваты вытесненного, которые вследствие своей отдаленности или искажения могут обойти цензуру сознания. Эти дериваты — не что иное, как мысли, которые возникают при отказе по нашему требованию от любых сознательных целевых представлений и всякой критики и из которых мы восстанавливаем в сознании перевод вытесненной репрезентации. При этом мы наблюдаем, что пациент может создавать длинную вереницу таких мыслей, пока в этом процессе не натолкнется на мыслительное образование, в котором связь с вытесненным проявляется настолько сильно, что ему приходится повторять свою попытку вытеснения. Так же и невротические симптомы должны отвечать указанному условию, ибо они представляют собой дериваты вытесненного, которое с помощью этих образований в конце концов отвоевало себе доступ к сознанию, в котором ему было отказано[1].

Насколько далеко должно зайти искажение и отдаление от вытесненного, прежде чем прекратится сопротивление сознания, в целом указать невозможно. При этом происходит тщательное взвешивание всех обстоятельств, процесс которого для нас скрыт, но о принципе действия которого можно догадаться. Речь идет о том, чтобы остановиться на определенном уровне интенсивности катексиса бессознательного, при превышении которого оно бы добилось удовлетворения. Следовательно, вытеснение работает *в высшей степени индивидуально;* у каждого отдельного деривата вытесненного может быть своя особая судьба; чуть большее или чуть меньшее искажение приводит к изменению всего результата. В связи с этим также становится понятно, что предпочитаемые объекты людей, их идеалы, проистекают из тех же восприятий и переживаний, что и объекты, внушающие наибольшее отвращение, и что первоначально они отличаются друг от друга лишь незначительными модификациями. Более того, может получиться так, — как мы это установили при образовании

[1] В немецких изданиях до 1924 года конец этой фразы выглядит так: «...которое с помощью этих образований добилось в конце концов отказанного ему доступа сознания». То есть с 1924 года словосочетание «доступа сознания» исправлено на «доступа к сознанию», в результате чего смысл предложения несколько изменился.

фетиша[1], — что первоначальная репрезентация влечения разделится на две части, одна из которых подверглась вытеснению, а оставшуюся часть — именно из-за ее внутренней связанности — постигла судьба идеализации.

То же самое, к чему приводит большая или меньшая степень искажения, может быть также достигнуто, так сказать, на другом конце аппарата — через изменение условий возникновения удовольствия и неудовольствия. Были выработаны особые технические приемы, цель которых состоит в том, чтобы вызвать во взаимодействии психических сил такие изменения, в результате которых то же самое, что обычно порождает неудовольствие, иногда также приносит и удовольствие; и всякий раз, когда такое техническое средство приводится в действие, вытеснение обычно отвергаемой репрезентации влечения прекращается. До сих пор эти технические приемы были более или менее точно прослежены только в отношении *остроумия*[2]. Как правило, устранение вытеснения — явление временное; вскоре оно возникает заново.

Однако наблюдений подобного рода достаточно для того, чтобы обратить наше внимание на другие особенности вытеснения. Оно не просто, как только что говорилось, *индивидуально*, но и в значительной мере *мобильно*. Процесс вытеснения нельзя представлять себе как некое однократное явление со стойким эффектом, подобно тому, как умерщвляют нечто живое, которое отныне становится мертвым; напротив, вытеснение требует постоянных затрат энергии, без которых его результат оказался бы поставленным под сомнение, а потому понадобился бы новый акт вытеснения. Мы можем себе представить, что вытесненное оказывает постоянное давление в направлении сознания, которому для сохранения равновесия необходимо непрерывно оказывать противодействие. Следовательно, сохранение вытеснения предполагает постоянную трату энергии, а прекращение этих затрат с экономической точки зрения означает сбережение сил. Впрочем, подвижность вытеснения находит свое выражение также и в психических характеристиках состояния сна, благодаря которому становится возможным образование сновидений[3].

[1] Ср. II раздел (А) первого из трех очерков Фрейда по теории сексуальности (1905) и примечания к нему.

[2] См. главу 2 книги Фрейда об остроумии (1905).

[3] Ср. «Толкование сновидений» (1900), глава 7, раздел В.

Вместе с пробуждением вновь посылаются убранные катексисы вытеснения.

Наконец, мы не должны забывать, что очень мало что сказали об импульсе влечения, констатировав, что он вытеснен. Он может, невзирая на вытеснение, находиться в самых разных состояниях, быть неактивным, то есть катектированным лишь небольшим количеством психической энергии, или способным к активности, поскольку величина катектированной психической энергии меняется. Хотя следствием его активизации и не будет непосредственное устранение вытеснения, она может стимулировать все процессы, которые завершаются проникновением в сознание окольными путями. В случае невытесненных дериватов бессознательного решающим моментом для судьбы отдельного представления часто оказывается степень активации или катексиса. Очень часто бывает так, что такой дериват остается невытесненным до тех пор, пока он репрезентирует незначительное количество энергии, хотя его содержание вполне пригодно для того, чтобы вызывать конфликт с тем, что господствует в сознании. Однако количественный момент имеет решающее значение для возникновения конфликта; как только неприемлемое по существу представление усиливается сверх определенной меры, конфликт становится актуальным, и именно активация влечет за собой вытеснение. То есть увеличение энергетического катексиса действует в отношении вытеснения точно так же, как приближение к бессознательному, а его снижение — как отдаление от бессознательного или как искажение. Мы понимаем, что в ослаблении неприятного вытесняющие тенденции могут найти замену его вытеснению.

В предыдущих рассуждениях мы рассматривали вытеснение репрезентации влечения и понимали под таковой представление или группу представлений, которые со стороны влечения катектированы определенной суммой психической энергии (либидо, интереса). Однако клинические наблюдения заставляют нас разложить на составляющие то, что мы понимали прежде как единое целое, ибо они показывают нам, что наряду с представлением необходимо учитывать еще и нечто иное, репрезентирующее влечение, и что это другое постигает судьба вытеснения, которая может полностью отличаться от вытеснения представления. За этим другим элементом психической репрезентации закрепилось название *сум-*

мы аффекта[1]; это соответствует влечению, поскольку последнее отделилось от представления и находит соответствующее выражение своему количеству в процессах, воспринимаемых как аффекты. Отныне, описывая случай вытеснения, мы должны будем по отдельности прослеживать то, что стало с представлением вследствие вытеснения и что произошло со связанной с ним энергией влечения.

Нам бы очень хотелось сказать об обеих судьбах нечто общее. Мы также сможем сделать это, немного сориентировавшись. Общая судьба *представления,* репрезентирующего влечение, едва ли может состоять в чем-то другом, кроме его исчезновения из сознания, если оно раньше было осознанным, или в недопущении в сознание, если оно намеревалось стать осознанным. Это различие уже не важно; оно сводится примерно к следующему: могу ли я выпроводить нежелательного гостя из моей гостиной или из моей передней или, узнав его, вообще не впускать на порог квартиры[2]. Судьба *количественного* фактора репрезентации влечения, как показывает краткий обзор данных, полученных в психоанализе, может быть троякой: либо влечение подавляется полностью, так что нельзя найти никаких его признаков, либо оно проявляется в виде так или иначе качественно окрашенного аффекта, либо оно превращается в страх[3]. Две последние возможности ставят перед нами задачу рассмотреть *превращение* психических энергий *влечений* в *аффекты*, прежде всего в страх, как новую судьбу влечения.

Мы помним, что мотивом и целью вытеснения было не что иное, как избегание неудовольствия. Из этого следует, что судьба аффективной величины репрезентации гораздо важнее, чем судьба представления, и что именно этот момент является определяющим в оценке процесса вытеснения. Если

[1] Это выражение восходит к периоду совместной работы с Брейером. Ср., например, последние абзацы статьи Фрейда, посвященной защитным невропсихозам (1894).

[2] Это пригодное для процесса вытеснения сравнение можно также распространить на ранее упоминавшуюся особенность вытеснения. Мне следует лишь добавить, что запретную для гостя дверь должен охранять постоянный сторож, ибо в противном случае выпровоженный взломал бы ее.

[3] Изменившиеся представления Фрейда по этому последнему пункту изложены в работе «Торможение, симптом и страх» (1926), в частности, в конце главы 4, а также в главе 11, раздел (Б).

вытеснению не удается предупредить возникновение ощущений неудовольствия или страха, то мы можем сказать, что оно потерпело неудачу, даже если оно достигло своей цели в части, относящейся к представлению. Разумеется, неудавшееся вытеснение будет представлять для нас больший интерес, чем удавшееся, которое чаще всего оказывается недоступным нашему исследованию.

Мы хотим понять *механизм* процесса вытеснения и прежде всего узнать, существует ли только один механизм вытеснения или несколько, или, быть может, каждый психоневроз отличается своим собственным механизмом вытеснения. Однако в самом начале этого исследования мы сталкиваемся с осложнениями. Механизм вытеснения становится доступным нашему пониманию только тогда, когда мы делаем о нем вывод по результатам вытеснения. Если мы ограничим наблюдение результатами в части репрезентации, относящейся к представлению, то узнаем, что вытеснение, как правило, создает *замещающее образование*. Каков механизм такого замещающего образования или здесь следует выделить несколько механизмов? Мы также знаем, что вытеснение оставляет после себя *симптомы*. Можем ли мы объединить замещающее образование и образование симптома, и если в целом дело обстоит именно так, совпадает ли механизм симптомообразования с механизмом вытеснения? Пока с большой вероятностью можно говорить о том, что оба механизма существенно различаются, что не вытеснение как таковое создает замещающие образования и симптомы и что последние как признаки *возвращения вытесненного*[1] обязаны своим возникновением совершенно другим процессам. По-видимому, также имеет смысл сначала, до механизмов вытеснения, подвергнуть исследованию механизмы образования симптомов и замещений.

Очевидно, что умозрительным рассуждениям дальше здесь делать нечего, и их должен заменить тщательный анализ результатов вытеснения, наблюдаемых при отдельных неврозах. Но я предлагаю отложить и эту работу, пока мы не составим себе ясного представления об отношениях между

[1] Понятие «возвращение вытесненного» появляется уже в ранних сочинениях Фрейда. Оно встречается еще во II разделе его второй работы, посвященной психоневрозам (1896), а также в еще более раннем черновом варианте этой работы, который он отослал 1 января 1896 года Флиссу (1950, манускрипт К).

сознательным и бессознательным[1]. Но чтобы данное обсуждение не оказалось совершенно бесплодным, я хочу заранее оговорить слудующее: 1) механизм вытеснения фактически не совпадает с механизмом или механизмами замещающего образования, 2) существуют очень разные механизмы замещающего образования и 3) у механизмов вытеснения есть по крайней мере одно общее — *лишение энергетического катексиса* (или *либидо,* если мы говорим о сексуальных влечениях).

Ограничившись тремя самыми известными психоневрозами, я хочу показать на нескольких примерах, каким образом введенные здесь понятия находят применение при исследовании вытеснения. Из *истерии страха* я выберу хорошо проанализированный пример фобии животных[2]. Подвергающимся вытеснению импульсом влечения является либидинозное отношение к отцу, сочетающееся со страхом перед ним. После вытеснения этот импульс исчез из сознания, отец как объект либидо в нем уже не присутствует. В качестве замены в аналогичном месте находится животное, более или менее пригодное для того, чтобы стать объектом страха. Образование, замещающее часть репрезентации влечения, связанную с представлением, возникло посредством *смещения* вдоль ассоциативной цепи, детерминированной определенным образом. Количественный компонент не исчез, а переместился в страх. Результат — страх перед волком вместо любовных притязаний к отцу. Разумеется, использованных здесь категорий недостаточно для объяснения даже самого простого случая психоневроза. Всегда необходимо учитывать и другие точки зрения.

Такое вытеснение, как в случае фобии животных, можно охарактеризовать как в принципе неудавшееся. Работа вытеснения здесь состоит лишь в устранении и замене представления, тогда как избежать неудовольствия вообще не удалось. Поэтому работа невроза не прекращается, а продолжается в другом темпе, чтобы достичь ближайшей, более важной цели. Это приводит к возникновению попытки к бегству, собствен-

[1] Фрейд обращается к этой задаче в IV разделе своей статьи «Бессознательное» (1915).

[2] Разумеется, здесь имеется в виду история болезни «Вольфсманна» (1918), которая, несмотря на то, что была опубликована только через три года после выхода в свет данной работы, в основном была уже завершена.

но *фобии*, многочисленных уклонений, которые должны исключить высвобождение страха. С помощью каких механизмов достигает цели фобия — с этим мы сможем познакомиться в специальном исследовании.

Совершенно другую оценку процесса вытеснения нас заставляет дать картина настоящей *конверсионной истерии*. Самое примечательное здесь то, что иногда удается свести к нулю всю сумму аффекта. В таком случае больной демонстрирует по отношению к своим симптомам поведение, которое Шарко назвал *«la belle indifférence des hystériques»*. В других случаях это подавление не оказывается столь полным, часть неприятных ощущений связывается с самими симптомами, или не до конца удается избежать высвобождения страха, что, в свою очередь, приводит в действие механизм образования фобии. Содержание представления, относящегося к репрезентации влечения, полностью устранено из сознания; в качестве замещающего образования — и одновременно симптома — существует слишком сильная (в самых наглядных случаях соматическая) иннервация то сенсорного, то моторного характера, в виде либо возбуждения, либо торможения. Чересчур иннервированное место при ближайшем рассмотрении оказывается частью самой вытесненной репрезентации влечения, которая, словно посредством *сгущения*, привлекла к себе весь катексис. Разумеется, и эти замечания также не охватывают полностью механизм конверсионной истерии; прежде всего необходимо еще добавить момент *регрессии*, который будет рассмотрен в другом контексте[1].

Вытеснение [конверсионной] истерии можно расценивать как полностью неудавшееся, поскольку оно стало возможным только благодаря многочисленным замещающим образованиям; что же касается освобождения от суммы аффекта — собственно задачи вытеснения, — то, как правило, оно означает полный успех. Процесс вытеснения при конверсионной истерии также завершается симптомообразованием, и в отличие от истерии страха ему не нужно делиться на два этапа или продолжаться неограниченно во времени.

И опять-таки совершенно иначе выглядит вытеснение при третьем заболевании, которое мы привлекаем здесь для срав-

[1] Наверное, это указание на пропавшую метапсихологическую работу, посвященную конверсионной истерии.

нения, — при *неврозе навязчивых состояний*. Вначале здесь возникает сомнение по поводу того, что же следует рассматривать в качестве репрезентации, подлежащей вытеснению, — либидинозное стремление или враждебное. Неуверенность проистекает из того, что в качестве предпосылки невроза навязчивых состояний выступает регрессия, вследствие которой вместо нежного стремления возникло садистское. Именно этот враждебный импульс против любимого человека и подлежит вытеснению. Эффект в первой фазе работы вытеснения совершенно иной, чем позднее. Сначала она имеет полный успех, содержание представления отклоняется, а аффект устраняется. В качестве замещающего образования возникает изменение Я, усиление совестливости, которое едва ли можно назвать симптомом. Образование замещения и симптома в данном случае не совпадают. И здесь тоже можно узнать о механизме вытеснения нечто новое. Оно, как всегда, привело к изъятию либидо, но для этой цели воспользовалось *реактивным образованием* в виде усиления противоположного чувства. Следовательно, у замещающего образования здесь тот же механизм, что и у вытеснения; в сущности, оно совпадает с ним, но отличается от симптомообразования во временном и понятийном отношениях. Весьма вероятно, что весь этот процесс становится возможным вследствие амбивалентного отношения к подлежащему вытеснению садистскому импульсу.

Однако удачное вначале вытеснение не удерживается; в дальнейшем процессе на передний план все больше выступает неудача вытеснения. Амбивалентность, способствовавшая вытеснению посредством реактивного образования, является в то же время тем местом, где вытесненному удается вернуться. Исчезнувший аффект возвращается, превратившись в социальный страх, в страх совести, в беспрестанные упреки; отвергнутое представление находит замену посредством *смещения*, нередко смещаясь на самое несущественное, индифферентное[1]. Как правило, тенденция к полному воссозданию вытесненного представления очевидна. Неудача в вытеснении количественного, аффективного фактора приводит в действие тот же механизм бегства посредством уклонений и запретов, с которым мы познакомились при образовании

[1] Ср. II раздел (B) в анализе «Раттенманна» (1909).

истерических фобий. Однако отвержение представления сознанием упорно сохраняется, потому что благодаря этому человек воздерживается от действия, то есть происходит моторное сдерживание импульса. Таким образом, работа вытеснения при неврозе навязчивых состояний сводится к безуспешной и бесконечной борьбе.

На основании приведенного здесь небольшого ряда сравнений становится очевидным, что потребуются еще более обширные исследования, прежде чем можно будет надеяться понять процессы, связанные с вытеснением и образованием невротических симптомов. Необычайное переплетение всех учитываемых моментов оставляет нам только один путь описания. Мы вынуждены выхватывать то одну, то другую точку зрения и прослеживать ее, используя материал, до тех пор, пока она не даст нам нечто важное. Каждая такая работа в отдельности сама по себе будет неполной, и мы не сможем избежать неясностей там, где она затронет еще не проработанные вопросы; но мы вправе надеяться, что в результате окончательного сопоставления нам удастся прийти к полному пониманию.

ПО ТУ СТОРОНУ ПРИНЦИПА УДОВОЛЬСТВИЯ (1920)

1

В психоаналитической теории мы без всяких сомнений предполагаем, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия. То есть мы считаем, что оно стимулируется неприятным напряжением и затем принимает такое направление, которое в конечном счете совпадает с уменьшением этого напряжения, другими словами — с избеганием неудовольствия или получением удовольствия. Рассматривая изучаемые нами психические процессы с учетом такой последовательности, мы привносим в свою работу экономическую точку зрения. Мы полагаем, что описание, которое наряду с топическим и динамическим моментами пытается оценить еще и экономический, будет самым полным из всех, которые мы можем сегодня себе представить, и оно заслуживает того, чтобы быть отмеченным под названием *метапсихологического*[1].

При этом для нас не представляет интереса исследование того, насколько мы с введением принципа удовольствия приблизились или присоединились к определенной, исторически сложившейся философской системе. К таким умозрительным предположениям мы приходим через описание и учет фактов, получаемых в нашей области благодаря повседневным наблюдениям. Приоритет и оригинальность не относятся к целям, которые стоят перед психоаналитической работой, а впечатления, лежащие в основе установления этого принципа, настолько ярки, что едва ли возможно упустить их из виду. Напротив, мы были бы весьма признательны философской или психологической теории, которая смогла бы показать нам, в чем состоит значение столь императивных для

[1] См. раздел IV работы «Бессознательное» (1915).

нас ощущений удовольствия и неудовольствия. К сожалению, ничего приемлемого нам здесь не предлагают. Это самая темная и недоступная область душевной жизни, и если мы не можем обойтись без того, чтобы ее не затронуть, то, по моему мнению, самое вольное предположение будет и самым лучшим. Мы решились соотнести удовольствие и неудовольствие с количеством имеющегося в душевной жизни — и не связанного как-либо — возбуждения[1] таким образом, что неудовольствие соответствует увеличению, а удовольствие — уменьшению этого количества. При этом мы не имеем в виду простое соотношение между интенсивностью ощущений и изменениями, к которым они относятся, менее же всего — в соответствии со всеми данными психофизиологии — прямую пропорциональность; вероятно, решающий момент для ощущения — это степень уменьшения или увеличения во времени. Возможно, здесь был бы полезен эксперимент; нам, аналитикам, едва ли целесообразно углубляться в эти проблемы, пока у нас нет возможности руководствоваться абсолютно надежными наблюдениями[2].

Но мы не можем оставаться равнодушными, видя, что такой проницательный исследователь, как Г.Т. Фехнер, отстаивает точку зрения на удовольствие и неудовольствие, в сущности совпадающую с той, к которой нас приводит психоаналитическая работа. Положение Фехнера, высказанное в его небольшом сочинении «Некоторые идеи об истории возникновения и развития организмов» (1873) сформулировано следующим образом: «Поскольку сознательные побуждения всегда находятся в связи с удовольствием или неудовольствием, можно подумать, что удовольствие и неудовольствие также находятся в психофизической взаимосвязи с условиями стабильности и нестабильности; и это позволяет обосновать развиваемую мной в другом месте гипотезу, что всякое психофизическое возбуждение, переступающее порог сознания,

[1] Представления о «количестве» и «связанном» возбуждении, которые пронизывают все творчество Фрейда, пожалуй, наиболее подробно рассматриваются в раннем «Проекте» (1950 [1895]). См., в частности, подробное объяснение термина «связанный» в конце первой трети части III «Проекта».

[2] Этот момент рассматривается в статье «Экономическая проблема мазохизма» (1924). См. также седьмой раздел («Проблема качества») в части I «Проекта» (1950 [1895]).

в известной мере связано с удовольствием, когда оно, перейдя известную границу, приближается к полной стабильности, и в известной мере с неудовольствием, когда оно, также переходя известную границу, от него отклоняется; вместе с тем между обеими границами, которые можно назвать качественным порогом удовольствия и неудовольствия, существует известная область эстетической индифферентности...»[1]

Факты, побудившие нас поверить в господство принципа удовольствия в душевной жизни, также находят свое выражение в гипотезе, что душевному аппарату присуща тенденция сохранять имеющееся в нем количество возбуждения на как можно более низком уровне или по крайней мере константным. Это та же самая мысль, только представленная в другой формулировке, ибо если работа душевного аппарата направлена на удержание количества возбуждения на низком уровне, то все, что может его повысить, должно ощущаться как нечто нефункциональное, то есть как неприятное. Принцип удовольствия выводится из принципа константности; но в действительности принцип константности был выведен из тех же фактов, которые заставили нас выдвинуть гипотезу о принципе удовольствия[2]. При более подробном обсуждении мы обнаружим также, что эта предполагаемая нами тенденция душевного аппарата относится в качестве частного случая к указанному Фехнером принципу *стремления к стабильности*, с которым он связывал ощущения удовольствия и неудовольствия.

Однако тогда нам придется отметить, что говорить о господстве принципа удовольствия над течением душевных процессов, по существу, было бы неверно. Будь это так, подавляющее большинство наших душевных процессов должно было бы сопровождаться удовольствием или вести к удовольствию, тогда как весь наш обычный опыт активно противоречит этому. Поэтому дело может обстоять только так, что в душе существует устойчивая тенденция к проявлению принципа удовольствия, которой, однако, противостоят некие другие силы или условия, а потому конечный результат не всегда может

---

[1] Ср. «Проект» (1950 [1895]), часть I, конец VIII раздела («Сознание»). Термин «эстетический» употреблен здесь в старом значении «отношения к ощущению или восприятию».

[2] «Принцип константности» восходит к истокам психологических исследований Фрейда.

соответствовать тенденции к удовольствию. Ср. замечание Фехнера по аналогичному поводу (1873, 90): «Однако тем самым стремление к цели еще не означает достижения цели, и вообще цель достижима только в приближении...» Если мы теперь зададимся вопросом, какие обстоятельства могут не допустить осуществления принципа удовольствия, то снова вступим на надежную и известную почву и для ответа на этот вопрос сможем в большом объеме привлечь свой аналитический опыт.

Первый случай такого торможения принципа удовольствия известен нам как закономерный. Мы знаем, что принцип удовольствия присущ *первичному* режиму работы душевного аппарата и что для самоутверждения организма среди трудностей внешнего мира он с самого начала оказывается непригодным и даже во многом опасным. Под влиянием влечений Я к самосохранению он сменяется *принципом реальности*[1], который, не оставляя конечной цели достижения удовольствия, все же предполагает и осуществляет отсрочку удовлетворения, отказ от различных возможностей такового и допущение на какое-то время неудовольствия на длинном окольном пути к удовольствию. Принцип удовольствия еще долгое время остается методом работы с «трудновоспитуемыми» сексуальными влечениями, и снова и снова получается так, что он, будь то под влиянием последних или в самом Я, побеждает принцип реальности во вред всему организму.

Между тем несомненно, что замена принципа удовольствия принципом реальности объясняет нам лишь незначительную часть неприятных переживаний, к тому же не самых сильных. Другой, не менее закономерный источник неудовольствия — это конфликты и расщепления в душевном аппарате в то время, когда Я совершает свое развитие до более сложных форм организации. Почти вся энергия, наполняющая этот аппарат, происходит от привнесенных импульсов влечений, но не все они допускаются на одинаковые фазы развития. Вместе с тем отдельные влечения или компоненты влечений по своим целям или требованиям постоянно оказываются несовместимыми с остальными и не могут объединиться во всеобъемлющее единство Я. В таком случае в результате процесса вытеснения они отделяются от этого единства, задер-

[1] См. «Положения о двух принципах психического события» (1911).

живаются на низших ступенях психического развития и прежде всего отсекаются от возможности удовлетворения. Если затем им удается — а это очень легко происходит с вытесненными сексуальными влечениями — окольными путями достичь непосредственного или замещающего удовлетворения, то этот результат, который обычно представляет собой возможность для получения удовольствия, воспринимается Я как неудовольствие. Вследствие старого конфликта, оканчивающегося вытеснением, принцип удовольствия вновь прорывается, причем именно в тот момент, когда определенные влечения работали над тем, чтобы, соблюдая этот же принцип, получить новое удовольствие. Детали процесса, благодаря которому вытеснение превращает возможность удовольствия в источник неудовольствия, пока еще недостаточно понятны или недоступны для ясного изложения, но, несомненно, всякое невротическое неудовольствие подобного рода — это удовольствие, которое не может ощущаться как таковое[1].

Оба указанных здесь источника неудовольствия далеко не исчерпывают всего многообразия наших переживаний неудовольствия, но об остальной их части можно, по-видимому, с полным основанием утверждать, что их наличие не противоречит господству принципа удовольствия. Ведь неудовольствие, которое мы чаще всего испытываем, — это неудовольствие, связанное с восприятием, либо восприятие напора неудовлетворенных влечений, либо внешнее восприятие, каким бы оно ни было — мучительным само по себе или вызывающим в душевном аппарате неприятные ожидания, которые расценивается им как «опасность». Реакция на требования этих влечений и угрозы, в которой, собственно, и выражается деятельность душевного аппарата, может корректно управляться принципом удовольствия или модифицирующим его принципом реальности. Поэтому, видимо, нет надобности признавать продолжающееся ограничение принципа удовольствия, и все же именно исследование психической реакции на внешнюю опасность может дать новый материал и привести к новой постановке обсуждаемой здесь проблемы.

---

[1] *Дополнение, сделанное в 1925 году:* «Главное, пожалуй, заключается в том, что удовольствие и неудовольствие как сознательные ощущения связаны с Я». [Это более подробно обсуждается в начале 2 главы работы «Торможение, симптом и страх» (1926)].

2

Уже давно было описано состояние, возникающее после сильных механических сотрясений, столкновений поездов и других несчастных случаев, связанных с угрозой для жизни, за которым закрепилось название «травматический невроз». Ужасная, совсем недавно окончившаяся война привела к появлению огромного множества таких заболеваний и по крайней мере положила конец искушению сводить их к органическому повреждению нервной системы под воздействием механической силы[1]. Картина состояния при травматическом неврозе приближается к истерии по богатству сходных моторных симптомов, но, как правило, превосходит ее очень резко выраженными признаками субъективного страдания, примерно такими же, как при ипохондрии или меланхолии, и проявлениями всеобъемлющей общей слабости и расстройства психических функций. До сих пор не было достигнуто полного понимания ни военных неврозов[2], ни травматических неврозов мирного времени. В случае военных неврозов казалось, что вопрос, с одной стороны, проясняется, но вместе с тем и осложняется тем обстоятельством, что одна и та же картина болезни иногда возникала[3] без содействия грубой механической силы; в обычном травматическом неврозе выделяются две особенности, на которых нам удалось построить свои рассуждения: во-первых, основное значение в этиологии, по-видимому, приходилось на момент неожиданности, испуга, и во-вторых, одновременно полученное повреждение или ранение чаще всего противодействовало возникновению невроза. Испуг, тревога, боязнь неверно употребляются как синонимы; их легко разграничить по их отношению к опасности. Тревога означает известное состояние ожидания опасности и приготовление к ней, даже если она неизвестна; боязнь предполагает определенный объект, которого боятся; испугом же, подчеркивая момент неожиданности, называют состояние, в котором человек оказывается при возникновении

[1] Ср. «К вопросу о психоанализе военных неврозов» со статьями Ференци, Абрахама, Зиммеля, Э. Джонса (1919) [к которым Фрейд написал предисловие (1919)]. См. также опубликованную уже после смерти автора работу «Заключение по вопросу о лечении электричеством больных военным неврозом» (1955 [1920]).

[2] Слово «полного» было добавлено в 1921 году.

[3] Только в первом издании здесь говорится «могла возникать».

опасности, когда он к ней не подготовлен. Я не думаю, что тревога может вызвать травматический невроз; в тревоге есть нечто защищающее от испуга и, следовательно, от невроза, вызываемого испугом. К этому тезису мы вернемся позднее[1].

Изучение сновидения мы можем рассматривать как самый надежный путь к исследованию глубинных душевных процессов. Сновидения при травматическом неврозе обнаруживают такую особенность, что они снова и снова возвращают больного к ситуации произошедшего с ним несчастного случая, от чего он каждый раз просыпается в испуге. Большого удивления это не вызывает. Считается, что это как раз и есть доказательство силы впечатления, произведенного травматическим переживанием, что оно постоянно навязывается больному даже во сне. Больной, так сказать, психически фиксирован на этой травме. Такие фиксации на переживании, которое вызвало болезнь, давно известны при истерии. Брейер и Фрейд в 1893 году[2] утверждали: истерические больные в большинстве своем страдают от реминисценций. Также и в случае военных неврозов исследователи, например, Ференци и Зиммель, смогли объяснить некоторые моторные симптомы фиксацией на моменте травмы.

Однако мне не известно, чтобы люди, страдающие травматическим неврозом, в состоянии бодрствования много времени уделяли воспоминанию о несчастном случае. Скорее, они стараются о нем не думать. Если кто-то принимает как само собой разумеющееся, что сновидение ночью снова возвращает их в ситуацию, сделавшую их больными, то он не понимает сущности снов. Ей скорее соответствовал бы показ больному картин из того времени, когда он был здоров, или картин ожидаемого выздоровления. Чтобы сновидения травматических невротиков не ввели нас в заблуждение по поводу тенденции сна к исполнению желания, нам остается разве что заклю-

[1] Сам Фрейд отнюдь не всегда придерживался проведенного здесь разграничения. Чаще всего он использует слово «Angst», чтобы охарактеризовать состояние страха без какого-либо отношения к будущему. Вполне вероятно, что здесь мы впервые сталкиваемся с различием, которое Фрейд провел в работе «Торможение, симптом и страх» (1926) между страхом как реакцией на травматическую ситуацию — это, пожалуй, тождественно тому, что он здесь называет «испугом» — и тревогой как предупредительным сигналом о приближении такого события.

[2] «О психическом механизме истерических феноменов» (1893), в конце I раздела. Ср. также статью Фрейда с тем же названием (1893).

чить, что в этом состоянии функция сновидения, подобно многому другому, также оказалась подорванной и отклоненной от своих целей, или мы должны были бы вспомнить о загадочных мазохистских тенденциях Я[1].

Теперь предлагаю оставить темную и мрачную тему травматического невроза и обратиться к изучению принципа действия психического аппарата на примере одного из его самых ранних нормальных проявлений. Я имею в виду детскую игру.

Различные теории детской игры лишь недавно были сопоставлены и оценены с аналитических позиций З. Пфайфером в журнале «Imago» (V/4) (1919); я могу здесь отослать читателя к этой работе. Авторы этих теорий пытаются разгадать мотивы игры детей, не выдвигая при этом на передний план экономическую точку зрения, получение удовольствия. Не намереваясь охватить все эти проявления в целом, я воспользовался представившейся мне возможностью разъяснить первую самостоятельно созданную игру одного мальчика в возрасте полутора лет. Это было больше чем мимолетное наблюдение, ибо на протяжении нескольких недель я жил под одной крышей с этим ребенком и его родителями, и прошло довольно много времени, прежде чем мне раскрылся смысл этого загадочного и постоянно повторявшегося действия.

Ребенок отнюдь не опережал других в своем интеллектуальном развитии; в полтора года он говорил лишь несколько понятных слов и, кроме того, произносил множество многозначительных звуков, которые были понятны окружающим. Однако он был в хорошем контакте с родителями и единственной служанкой, и его хвалили за «примерный» характер. Он не беспокоил родителей по ночам, добросовестно соблюдал запреты трогать некоторые вещи и заходить в определенные комнаты и, самое главное, никогда не плакал, когда мать покидала его на несколько часов, хотя и был нежно привязан к матери, которая не только сама кормила ребенка, но и ухаживала за ним и заботилась о нем безо всякой посторонней помощи. У этого милого ребенка была лишь одна несколько неприятная привычка, а именно: забрасывать все маленькие предметы, которые попадали ему в руки, далеко от себя в угол комнаты, под кровать и т. д., так что поиск и собирание

[1] Последние одиннадцать слов были добавлены в 1921 году. См. также «Толкование сновидений» (1900).

его игрушек зачастую бывали нелегкой работой. При этом он с выражением интереса и удовлетворения издавал громкое протяжное «о-о-о-о», которое, по единодушному мнению матери и наблюдателя, было не просто междометием, а означало «прочь». В конце концов я заметил, что это — игра и что ребенок использовал все свои игрушки лишь для того, чтобы поиграть с ними в игру, которую можно было бы назвать «Уходи». Однажды я сделал наблюдение, которое подтвердило мои догадки. У ребенка была деревянная катушка с намотанной на нее бечевкой. Ему никогда не приходило в голову, например, таскать ее за собой по полу, то есть поиграть в тележку, но он с большой ловкостью, держа катушку за веревочку, бросал ее за край своей кроватки, в результате чего она там исчезала; при этом он произносил свое многозначительное «о-о-о-о», а затем снова вытаскивал катушку за бечевку из кровати, приветствуя на этот раз ее появление радостным «вот». В этом и заключалась вся игра — в исчезновении и возвращении, из которых обычно удавалось наблюдать только первое действие. Оно само по себе без устали повторялось в качестве игры, хотя большее удовольствие, несомненно, было связано со вторым актом[1].

Теперь толкование игры напрашивалось само собой. Она была связана с большим культурным достижением ребенка — с осуществленным им самим отказом от влечения (отказом от удовлетворения влечения), то есть с тем, что он не сопротивлялся уходу матери. Но он словно вознаграждал себя за это, самостоятельно разыгрывая с доступными ему предметами подобное исчезновение и возвращение. Для аффективной оценки этой игры, разумеется, безразлично, изобрел ли ребенок ее сам или усвоил ее по чьему-либо примеру. Наш интерес будет сосредоточен на другом моменте. Уход матери не мог быть для ребенка приятным или хотя бы безразличным. Как

[1] Это толкование потом было полностью подтверждено дальнейшим наблюдением. Однажды, когда мать вернулась после нескольких часов отсутствия, мальчик приветствовал ее сообщением: «*Беби о-о-о-о*», которое вначале осталось непонятным. Однако вскоре выяснилось, что во время этого долгого одиночества ребенок нашел способ, как можно исчезнуть самому. Он обнаружил свое отражение в большом зеркале на подставке, достававшем почти до пола, а затем приседал на корточки, чтобы отражение уходило «прочь». Об этом же эпизоде — речь идет о внуке Фрейда — уже сообщалось в «Толковании сновидений».

же согласуется с принципом удовольствия тот факт, что он повторяет эту мучительную для себя игру? На это могут ответить, что уход должен быть сыгран как предварительное условие для радостного возвращения, что в последнем, собственно, и состоял смысл игры. Но этому противоречило бы то наблюдение, что первое действие, уход, разыгрывалось само по себе, причем несравненно чаще, чем вся сцена, доведенная до приятного конца.

Анализ такого единичного случая не дает надежного решения; если посмотреть беспристрастно, складывается впечатление, что ребенок сделал это переживание предметом своей игры по совсем другим мотивам. Играя, сначала он был пассивен, событие задело его за живое, и теперь он берет на себя активную роль, повторяя это событие в виде игры, несмотря на то, что оно было неприятным. Это стремление можно было бы отнести к влечению к овладению, которое не зависит от того, было ли воспоминание само по себе приятным или нет. Но можно поискать и другое толкование. Выбрасывание предмета, в результате чего он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мести матери за то, что она ушла от ребенка, и тогда может иметь значение своенравия: «Да, иди прочь, ты мне не нужна, я сам тебя отсылаю». Этот же ребенок, которого я наблюдал в возрасте полутора лет во время его первой игры, годом позже имел обыкновение бросать на пол игрушку, на которую он сердился, и говорить при этом: «Иди на войну!» Ему тогда рассказывали, что его отсутствующий отец находится на войне, и он совсем не жалел об отсутствии отца, а демонстрировал самые явные признаки того, что он не хотел, чтобы кто-то помешал ему единолично обладать матерью[1]. Мы знаем и о других детях, что они могут выражать сходные враждебные побуждения, швыряя предметы вместо людей[2]. Здесь возникает сомнение, может ли стремление психически переработать нечто производящее сильное впечатление, полностью им овладеть, проявиться первично и независимо от принципа удовольствия. Ведь в обсуждаемом здесь случае ребенок мог бы

[1] Когда ребенку было пять лет и девять месяцев, его мать умерла. Теперь, когда она действительно ушла «прочь» (о-о-о), мальчик не проявлял печали. Но за это время родился другой ребенок, пробудивший в нем сильнейшую ревность.

[2] Ср. «Детское воспоминание из “Вымысла и правды”» (1917).

повторять в игре неприятное впечатление лишь потому, что с этим повторением связано получение другого, но непосредственного удовольствия.

Дальнейшее прослеживание детской игры также не устраняет этих наших колебаний в выборе между двумя объяснениями. Мы видим, что дети повторяют в игре все, что произвело на них большое впечатление в жизни, что при этом они могут отреагировать это сильное впечатление и, так сказать, стать хозяевами положения. Но, с другой стороны, достаточно ясно, что вся их игра находится под влиянием желания, доминирующего в этом возрасте: быть большими и вести себя как взрослые. Можно также наблюдать, что неприятный характер переживания не всегда делает его непригодным для игры. Если доктор осматривал у ребенка горло или произвел небольшую операцию, то это пугающее переживание, несомненно, станет содержанием следующей игры, но при этом нельзя не заметить, что ребенок получает удовольствие из другого источника. Переходя от пассивности переживания к активности игры, он доставляет товарищу по игре ту неприятность, которая произошла с ним самим, и таким образом он мстит человеку, которого тот замещает[1].

Тем не менее из этих рассуждений следует, что предположение о наличии особого влечения к подражанию в качестве мотива игры — излишне. Кроме того, напомним, что игра артистов и подражание взрослых, которое в отличие от поведения ребенка рассчитано на зрителя, доставляет последнему, например, в трагедии, самые болезненные впечатления, и все же может восприниматься им как высшее наслаждение[2]. Таким образом, мы убеждаемся, что и при господстве принципа удовольствия существует достаточно средств и способов, чтобы сделать само по себе неприятное переживание предметом воспоминания и психической переработки. Пусть этими случаями и ситуациями, завершающимися в итоге получением удовольствия, занимается эстетика, руководствующаяся экономическим принципом; для наших целей они ничего не дают, ибо предполагают существование и господство прин-

[1] Это наблюдение упоминается также в III разделе работы «О женской сексуальности» (1931).

[2] Работа на эту тему, написанная предположительно в 1905 или 1906 году, была опубликована под названием «Психопатические характеры на сцене» уже после смерти Фрейда (1942).

ципа удовольствия и не свидетельствуют о действенности тенденций, находящихся по ту сторону принципа удовольствия, то есть тенденций, более ранних по происхождению и независимых от него.

3

Двадцать пять лет интенсивной работы привели к тому, что ближайшие цели психоаналитической техники сегодня стали совсем другими, чем были в начале. Раньше врач-аналитик мог стремиться только к тому, чтобы разгадать скрытое бессознательное, привести его в связный вид и сообщить больному об этом в подходящее время. Психоанализ был прежде всего искусством толкования. Поскольку терапевтическая задача этим не решалась, вскоре появилась новая цель — вынудить больного к подтверждению конструкции его собственными воспоминаниями. В этих усилиях особое внимание уделялось сопротивлениям больного; теперь искусство заключалось в том, чтобы как можно быстрее раскрыть их, продемонстрировать их больному и, по-человечески повлияв на него (здесь есть место для суггестии, действующей как «перенос»), подвигнуть его к отказу от сопротивлений.

Но затем становилось все более ясно, что поставленной цели — осознания бессознательного — нельзя полностью достичь и этим способом. Больной не может вспомнить всего, что было им вытеснено, причем, пожалуй, как раз самого важного, и поэтому не убеждается в правильности сообщенной ему конструкции. Скорее, он вынужден *повторять* вытесненное в качестве нынешнего переживания, вместо того чтобы *вспоминать* его, как того бы хотелось врачу, как часть прошлого[1]. Это воспроизведение, проявляющееся с упорством, достойным лучшего применения, всегда имеет своим содержанием часть инфантильной сексуальной жизни — эдипова комплекса и его ответвлений — и постоянно проигрывается в области переноса, то есть в отношении к врачу. Если в

[1] См. «Дальнейшие советы по технике психоанализа. II. Воспоминание, повторение и проработка» (1914). В этой же работе содержится раннее указание на «навязчивое повторение», которое относится к главным темам настоящей работы. Термин «навязчивое повторение» в особом значении, в котором он используется несколькими строками ниже, встречается также и в той работе.

процессе лечения дело зашло так далеко, то можно сказать, что прежний невроз теперь сменился новым неврозом переноса. Врач старался как можно больше ограничить сферу этого невроза переноса, как можно глубже проникнуть в воспоминания и как можно меньше допускать повторение. Отношение, которое устанавливается между воспоминанием и воспроизведением, в каждом случае различается. Как правило, врач не может избавить анализируемого от этой фазы лечения; он должен дать ему заново пережить часть забытой жизни и позаботиться о том, чтобы сохранилась некоторая степень превосходства, благодаря которому мнимая реальность все-таки снова и снова распознается как отражение забытого прошлого. Если это удается, то достигается убеждение больного и зависящий от этого терапевтический эффект.

Чтобы сделать понятнее это *«навязчивое повторение»*, которое проявляется в ходе психоаналитического лечения невротиков, нужно прежде всего избавиться от заблуждения, будто при преодолении сопротивлений имеешь дело с сопротивлением «бессознательного». Бессознательное, то есть вытесненное, не оказывает вообще никакого сопротивления усилиям лечения, ведь оно само стремится лишь к тому, чтобы вопреки оказываемому давлению прорваться в сознание или добиться отвода с помощью реального действия. Сопротивление лечению исходит из тех же высших слоев и систем душевной жизни, которые в свое время произвели вытеснение. Но поскольку, как известно из опыта, мотивы сопротивления и даже оно само во время лечения сначала бывают бессознательными, мы должны подыскать более целесообразную форму выражения. Мы избежим неясности, если будем противопоставлять друг другу не сознательное и бессознательное, а тесно примыкающее к ним Я и *вытесненное*. Многое в Я, несомненно, само является бессознательным, а именно то, что можно назвать ядром Я; лишь незначительную часть его мы охватываем названием *предсознательное*[1]. После этой замены чисто описательного выражения выражением систематическим или динамическим мы можем сказать, что сопротив-

[1] В данной формулировке это предложение появилось в 1921 году. В первом издании (1920) говорится: «Многое в Я может быть даже бессознательным; вероятно, лишь часть его мы охватываем названием *предсознательное*».

ление анализируемых исходит из их Я[1], и тогда нам сразу же становится ясно, что «навязчивое повторение» следует приписать вытесненному бессознательному. Оно, вероятно, не могло проявиться до тех пор, пока идущая ему навстречу работа лечения не ослабила вытеснения[2].

Нет никакого сомнения, что сопротивление сознательного и предсознательного Я служит принципу удовольствия, ведь оно стремится избавить от неудовольствия, которое возникло бы при высвобождении вытесненного, и наши усилия направлены на то, чтобы, обращаясь к принципу реальности, добиться допущения такого неудовольствия. Но в каком отношении к принципу удовольствия находится навязчивое повторение, проявление силы вытесненного? Очевидно, что большая часть того, что позволяет заново пережить навязчивое повторение, должно принести Я неудовольствие, ибо оно способствует проявлению вытесненных влечений, но это неудовольствие, как мы уже отмечали, не противоречит принципу удовольствия; будучи неудовольствием для одной системы, оно месте с тем становится удовлетворением для другой[3]. Однако тот новый и удивительный факт, который нам нужно теперь описать, заключается в том, что навязчивое повторение воспроизводит также и такие прошлые переживания, которые не содержат возможности удовольствия, которые и тогда не могли быть удовлетворением, даже тех импульсов влечения, которые с тех пор были вытеснены.

Ранний расцвет инфантильной сексуальной жизни был обречен на гибель из-за несовместимости ее господствовавших желаний с реальностью и недостаточности развития ребенка. Он закончился в связи с самыми неприятными поводами и сопровождался глубокими болезненными переживаниями. Потеря любви и неудачи оставили после себя нарциссический шрам — стойкое нарушение чувства собственного достоинства,

---

[1] Более подробное и несколько иное описание источников сопротивления содержится в главе 11 работы «Торможение, симптом и страх» (1926).

[2] *Дополнение, сделанное в 1923 году:* «В другом месте (1923) я поясняю, что во время лечения здесь на помощь навязчивому повторению приходит именно “влияние суггестии”, то есть глубоко коренящаяся в родительском комплексе уступчивость по отношению к врачу».

[3] Ср. аллегорическое использование Фрейдом сказки о трех желаниях в начале 14-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917).

которое, по моему опыту и по мнению Марциновского (1918), составляет одну из главных причин «чувства неполноценности», часто встречающегося у невротиков. Сексуальная пытливость ребенка, которого ограничивает его физическое развитие, к удовлетворительному результату не привела; отсюда впоследствии жалобы: «Я не могу ни с чем справиться, мне ничего не удается». Нежная привязанность, как правило, к родителю противоположного пола, иссякла от разочарования, напрасного ожидания удовлетворения или ревности при рождении нового ребенка, которое недвусмысленно указывало на неверность любимого или любимой; собственная, с трагической серьезностью предпринятая попытка самому произвести такого ребенка, постыдным образом не удалась; уменьшение нежности, ранее проявлявшейся к малышу, повышенные требования в воспитании, строгие слова, а иной раз и наказание в конечном счете раскрыли ему в полном объеме выпавшее на его долю *пренебрежение*. Существует несколько типичных, постоянно повторяющихся типов явлений, разрушающих любовь, характерную для этого детского возраста.

Все эти нежелательные поводы и болезненные аффективные состояния повторяются и с большим искусством оживляются невротиком при переносе. Невротики стремятся прервать незаконченное лечение, они умеют снова создать у себя впечатление, что ими пренебрегают, вынуждают врача к резким словам и к холодному обращению, они находят подходящие объекты для своей ревности, заменяют страстно желанное ими в младенчестве дитя намерением или обещанием большого подарка, который в большинстве случаев бывает столь же малореальным, как и тот. Тогда ничто из всего этого не могло принести удовольствия; следовало бы[1] предположить, что теперь это вызвало бы меньше неудовольствия, если бы проявилось в виде воспоминания или в сновидениях, чем приняв форму нового переживания. Разумеется, речь идет о действии влечений, которые должны были привести к удовлетворению, но знание о том, что и тогда вместо этого они тоже вызывали только неудовольствие, никакой пользы не

[1] В первом издании этот абзац завершается так: «...следовало предположить, что сегодня это должно было бы вызвать меньше неудовольствия, если бы проявилось в виде воспоминания, чем если бы приняло форму нового переживания. Однако какая-то сила вынуждает к последнему».

принесло. И тем не менее они повторяются; какая-то сила вынуждает их к этому.

То же самое, что психоанализ показывает на примере феноменов переноса у невротиков, можно найти и в жизни людей, которые невротиками не являются. В этом случае создается впечатление, что их преследует судьба, что в их переживании есть некая демоническая черта, и психоанализ с самого начала считал, что такая судьба большей частью создается ими самими и предопределяется влияниями раннего детства. Принуждение, которое при этом проявляется, не отличается от «навязчивого повторения» у невротиков, хотя эти люди никогда не обнаруживали признаков невротического конфликта, разрешившегося образованием симптомов. Так, например, известны люди, у которых любые человеческие отношения заканчиваются одним и тем же: благодетели, которых через какое-то время в озлоблении покидает каждый из их питомцев, какими бы разными они ни были, словно им суждено изведать всю горечь неблагодарности; есть мужчины, у которых любая дружба кончается тем, что друг их предает; есть другие люди, которые в своей жизни очень часто возвеличивают другого человека, возводя его в ранг большого личного или даже общественного авторитета, а затем спустя какое-то время сами низвергают этот авторитет, чтобы заменить его новым; есть влюбленные мужчины, у которых любое нежное отношение к женщине проходит одни и те же фазы и приводит к одинаковому концу, и т. д. Мы мало удивляемся этому «вечному повторению одного и того же», если речь идет об *активном* поведении данного человека и если мы находим в его характере постоянную черту, которая должна выражаться в повторении одних и тех же переживаний. Гораздо большее впечатление на нас производят те случаи, где такой человек переживает нечто, казалось бы, *пассивно*, не оказывая со своей стороны никакого воздействия, и все же повторяет все время одну и ту же судьбу. Вспомним, например, историю женщины, которая выходила замуж три раза подряд, и все ее мужья через короткое время заболевали, а ей приходилось ухаживать за ними до самой их смерти[1]. Самое волнующее поэтическое изображение такой судьбы дал Тас-

[1] Ср. в этой связи меткие замечания в статье К.Г. Юнга «Значение отца для судьбы индивида» (1909).

со в романтическом эпосе «Gerusalemme liberata» [«Освобожденный Иерусалим»]. Герой этого произведения Танкред, сам того не ведая, убил свою возлюбленную Клоринду, когда она сражалась с ним в доспехах вражеского рыцаря. После ее похорон он попадает в зловещий заколдованный лес, повергающий войско крестоносцев в ужас. Там он разрубает мечом высокое дерево, но из раны дерева струится кровь, и голос Клоринды, душа которой переселилась в дерево, обвиняет его, что он снова ранил возлюбленную.

Основываясь на таких наблюдениях за поведением пациентов при переносе и за судьбой людей, мы осмелимся выдвинуть предположение, что в душевной жизни действительно существует навязчивое повторение, выходящее за рамки принципа удовольствия. Теперь мы склонны отнести к этому принуждению сновидения травматических невротиков и побуждение ребенка к игре. Правда, мы вынуждены признаться себе, что лишь в редких случаях можем осмыслить влияния навязчивого повторения в чистом виде без содействия прочих мотивов. В случае детской игры мы уже отмечали, какие иные толкования допускает ее возникновение. Навязчивое повторение и непосредственное исполненное удовольствия удовлетворение влечения, по-видимому, соединились в ней в единое целое. Феномены переноса, очевидно, служат сопротивлению со стороны настаивающего на вытеснении Я; навязчивое повторение, которое лечение хотело поставить себе на службу, так сказать, перетягивает на свою сторону Я, которое хочет придерживаться принципа удовольствия[1]. В том, что можно было бы назвать навязываемой судьбой, многое, как нам кажется, становится понятным благодаря рациональному объяснению, и поэтому необходимости в выделении нового таинственного мотива не ощущается. Наименьшее подозрение вызывают, пожалуй, сновидения о несчастных случаях, но при ближайшем рассмотрении приходится все же признать, что и в других примерах положение вещей не объясняется влиянием известных нам мотивов. Остается достаточно материала, подтверждающего гипотезу о навязчивом повторении, и оно кажется нам более ранним, более элементарным, более

[1] В изданиях до 1923 года эта часть предложения звучит так: «...навязчивое повторение, так сказать, призывается на помощь Я, которое хочет придерживаться принципа удовольствия».

связанным с влечениями, чем оставленный им в стороне принцип удовольствия. Но если в душевной жизни существует такое навязчивое повторение, то нам очень хотелось бы что-нибудь знать о том, какой функции оно соответствует, при каких условиях может проявляться и в каких отношениях оно находится с принципом удовольствия, который мы до сих пор считали главенствующим в течении процессов возбуждения в душевной жизни.

4

То, что теперь последует, — это умозрительное рассуждение, часто далеко идущее, которое каждый человек в зависимости от своей собственной установки или принимает, или оставляет без внимания. Итак, мы предпримем попытку последовательной разработки одной идеи из любопытства, желая узнать, куда она приведет.

Психоаналитическое умозрительное рассуждение опирается на впечатление, полученное при исследовании бессознательных процессов, что сознание может быть не самой общей характеристикой душевных процессов, а только их особой функцией. В метапсихологических терминах оно утверждает, что сознание — это функция особой системы, которую называют *Сз*[1]. Поскольку сознание поставляет в основном восприятия возбуждений, поступающих из внешнего мира, а также ощущения удовольствия и неудовольствия, которые могут проистекать лишь изнутри душевного аппарата, системе *В–Сз*[2] можно отвести пространственное положение. Она должна находиться на границе внешнего и внутреннего, быть обращенной к внешнему миру и охватывать другие психические системы. Тогда мы замечаем, что этим предположением не сказали ничего рискованного, нового, а только присоединились к локализирующей анатомии мозга, которая помещает «место» сознания в кору головного мозга, во внешний, покрывающий слой центрального органа. Анатомии мозга нет нужды задумываться над тем, почему — выражаясь анатоми-

[1] См. «Толкование сновидений» (1900), а также «Бессознательное» (1915).

[2] Система *В* (система восприятия) впервые была описана Фрейдом в «Толковании сновидений» (1900). В более поздней метапсихологической работе о сновидениях (1917) он утверждал, что система *В* совпадает с системой *Сз*.

чески — сознание размещено именно на поверхности мозга, вместо того чтобы надежно укрываться где-нибудь в самых его глубинах. Возможно, мы продвинемся дальше, рассмотрев возникновение такой ситуации с точки зрения нашей системы *В–Сз*.

Сознание — не единственная особенность, которую мы приписываем процессам в этой системе. Мы опираемся на впечатления своего психоаналитического опыта, предполагая, что все процессы возбуждения в других системах оставляют в них стойкие следы в качестве основы памяти, то есть следы воспоминаний, ничего общего с осознанием не имеющие. Зачастую они бывают наиболее сильными и прочными, если оставляющий их после себя процесс так и не доходит до сознания. Но нам трудно поверить, что такие длительные следы возбуждения возникают также в системе *В–Сз*. Если бы они все время оставались сознательными, то очень скоро ограничили бы пригодность этой системы к восприятию новых возбуждений[1]; в другом случае, если бы они были бессознательными, то поставили бы перед нами задачу объяснить существование бессознательных процессов в системе, функционирование которой обычно сопровождается феноменом сознания. Своей гипотезой, которая отсылает осознание в особую систему, мы, так сказать, ничего бы не изменили и ничего бы не выиграли. Даже если это и нельзя считать соображением, имеющим обязательную силу, оно все же может подвигнуть нас к предположению, что осознание и оставление следа в памяти в одной и той же системе несовместимы друг с другом. Мы могли бы сказать, что в системе *Сз* процесс возбуждения осознается, но не оставляет длительного следа; все его следы, на которые опирается воспоминание, должно быть, возникают в близлежащих внутренних системах при распространении на них возбуждения. В этом смысле разработана и та схема, которую я в 1900 году включил в умозрительный раздел своего «Толкования сновидений». Если подумать о том, как мало мы знаем из других источников о возникновении сознания, то тезис, что *сознание возникает*

[1] Это полностью соответствует рассуждениям Й. Брейера в теоретическом разделе «Этюдов об истерии» ([Breuer, Freud] 1895). Сам Фрейд обсуждал эту тему в «Толковании сновидений» (1900), еще раньше он подверг ее детальному рассмотрению в «Проекте» 1895 года (1950), часть I, в разделе «Границы контакта». Наконец, он еще раз вернулся к ней в работе о «чудо-блокноте» (1925).

на месте следа воспоминания, по меньшей мере следует расценить как в известной мере определенное утверждение.

Таким образом, система *Сз* отличается той особенностью, что процесс возбуждения, в отличие от всех остальных психических систем, не оставляет в ней после себя длительного изменения ее элементов, а, так сказать, растрачивается впустую в феномене осознания. Такое отклонение от общего правила нуждается в объяснении через одно обстоятельство, относящееся исключительно к этой системе, и этим обстоятельством, которого лишены другие системы, вполне может быть открытое, незащищенное положение системы *Сз*, ее непосредственное столкновение с внешним миром.

Представим себе живой организм в его самом упрощенном виде как недифференцированный пузырек, содержащий некую возбудимую субстанцию; тогда его обращенная к внешнему миру поверхность дифференцирована в силу самого своего положения и служит органом, воспринимающим раздражение. Эмбриология как повторение филогенеза и в самом деле показывает, что центральная нервная система возникает из эктодермы и что серая кора головного мозга по-прежнему остается производной примитивной поверхности, которая путем наследования могла перенять ее важные качества. В таком случае вполне можно было бы допустить, что из-за непрекращающегося наступления внешних раздражителей на поверхность пузырька его субстанция до определенной глубины подвергается постоянному изменению, а потому процесс возбуждения на поверхности протекает иначе, чем в более глубоких слоях. Так образовалась кора, которая в конце концов оказалась настолько прожженной воздействием раздражителей, что стала предоставлять самые благоприятные условия для восприятия раздражителей и на дальнейшую модификацию уже не способна. Если перенести это на систему *Сз*, то это означало бы, что ее элементы более не способны к длительному изменению при прохождении возбуждения, поскольку в смысле такого воздействия они и так уже модифицированы до предела. Но в таком случае они способны дать начало сознанию. В чем состоит изменение субстанции и процесса возбуждения в ней — на этот счет могут быть разные представления, которые в настоящее время не поддаются проверке. Можно предположить, что, переходя от одного элемента к другому, возбуждение должно преодолеть сопротив-

ление, и что это уменьшение сопротивления оставляет стойкий след возбуждения (прокладка пути); в системе *Сз* такого сопротивления при переходе от одного элемента к другому уже не возникает[1]. С этим представлением можно соотнести разграничение Брейером бездействующей (связанной) и свободно перемещающейся катектической энергии в элементах психических систем[2]; в таком случае элементы системы *Сз* обладали бы не связанной, а только способной к свободному отводу энергией. Но я думаю, что об этих отношениях пока лучше высказаться как можно более неопределенно. И тем не менее благодаря этим умозрительным рассуждениям мы бы так или иначе связали возникновение сознания с положением системы *Сз* и с особенностями процесса возбуждения, которые ему можно приписать.

Но нам нужно обсудить и еще кое-что, находящееся в живом пузырьке с его воспринимающим раздражители корковым слоем. Эта частица живой субстанции находится посреди заряженного сильнейшей энергией внешнего мира, и она бы погибла под действием его раздражителей, если бы не была снабжена *защитой от раздражающего воздействия*. Она получает эту защиту благодаря тому, что ее наружная поверхность отказывается от своей характерной для живого организма структуры, становится в известной степени неорганической и действует теперь как особая оболочка или мембрана, не пропускающая раздражители, то есть пропускает лишь небольшую по интенсивности часть энергий внешнего мира дальше в близлежащие, оставшиеся живыми слои. Эти слои, находящиеся под защитой от раздражающего воздействия, теперь могут посвятить себя восприятию пропущенных количеств раздражения. Своим отмиранием внешний слой избавил от такой же участи все более глубокие слои, по крайней мере до тех пор, пока не поступают настолько сильные раздражители, что они прорывают защиту от раздражающего воздействия. Для живого организма защита от раздражающего воздействия представляет собой чуть ли не более важную задачу, чем восприятие раздражителей; он снабжен

[1] Эта точка зрения обозначается уже в «Проекте» 1895 года (1950), часть I, вторая половина III раздела («Границы контакта»).

[2] «Этюды об истерии» Брейера и Фрейда (1895). См. II раздел теоретической части Брейера, в частности примечание в начале указанного раздела.

собственным запасом энергии и должен прежде всего стремиться к тому, чтобы уберечь свои особые формы преобразования энергии от уравнивающего, то есть разрушающего влияния чересчур интенсивных энергий, действующих извне. Восприятие раздражителей служит прежде всего намерению узнать направление и характер внешних раздражителей, и для этого должно быть достаточно брать из внешнего мира небольшие пробы, пробовать их в незначительных количествах. У высокоразвитых организмов воспринимающий корковый слой прежнего пузырька давно отодвинулся в глубину организма, но его компоненты остались на поверхности непосредственно под общей защитой от раздражающего воздействия. Это — органы чувств, содержащие приспособления для восприятия специфических воздействий раздражителей, но, кроме того, снабженные особыми устройствами для новой защиты от слишком больших количеств раздражения и для сдерживания неподобающих видов раздражения[1]. Для них характерно то, что они перерабатывают лишь совсем незначительные количества внешнего раздражения, проводят, так сказать, только выборочную проверку внешнего мира; наверное, их можно сравнить со щупальцами, которые протягиваются к внешнему миру, ощупывают его, а затем снова от него отстраняются.

Здесь я позволю себе вкратце затронуть тему, которая заслуживает самого основательного обсуждения. Тезис Канта, что время и пространство — необходимые формы нашего мышления, сегодня может стать предметом дискуссии, основывающейся на определенных психоаналитических данных. Мы узнали, что сами по себе бессознательные душевные процессы — «вневременные»[2]. Это прежде всего означает, что они не упорядочены во времени, что время ничего в них не меняет и что представление о времени нельзя к ним применить. Это — негативные свойства, которые можно ясно представить себе только через сравнение с сознательными душевными процессами. По-видимому, наше абстрактное представление о времени целиком определяется принципом действия системы *В–Сз* и соответствует самовосприятию последней. При

[1] Ср. «Проект» 1895 года (1950), часть I, V и IX разделы («Количественная проблема» и «Функционирование аппарата»).

[2] См. V раздел работы «Бессознательное» (1915).

таком функционировании системы мог наметиться другой способ защиты от раздражающего воздействия. Я знаю, что эти утверждения кажутся очень туманными, но мне придется пока ограничиться такими намеками[1].

Ранее мы заявляли, что живой пузырек оснащен защитой от раздражающего воздействия внешнего мира. До этого мы установили, что близлежащий его корковый слой должен быть дифференцирован в качестве органа, воспринимающего внешние раздражители. Но этот чувствительный корковый слой, будущая система *Сз*, получает также возбуждения изнутри; положение этой системы между внешним и внутренним и различия условий для воздействия с одной и с другой стороны становятся решающими факторами в работе системы и всего душевного аппарата. Существует защита от внешних воздействий, которая в значительной степени снижает влияние поступающего возбуждения; защита от воздействия внутренних раздражителей невозможна[2], возбуждение более глубоких слоев распространяется непосредственно и в полном объеме на всю систему, при этом определенные особенности его прохождения вызывают ряд ощущений удовольствия и неудовольствия. Вместе с тем возбуждения, возникающие изнутри, по своей интенсивности и по другим качественным характеристикам (например, по своей амплитуде) будут более адекватны принципу действия этой системы, чем раздражения, поступающие из внешнего мира[3]. Однако этими обстоятельствами решающим образом определяются два момента: во-первых, преобладание ощущений удовольствия и неудовольствия, которые служат индикатором процессов, происходящих внутри аппарата, над всеми внешними раздражителями, и, во-вторых, направленность поведения в отношении таких внутренних возбуждений, которые ведут к чрезмерному усилению неудовольствия. Отсюда возникает склонность относиться к ним так, словно они действуют не

---

[1] Вопрос о происхождении представления о времени Фрейд снова затрагивает в конце своей «Заметки о “чудо-блокноте”» (1925). В этой работе далее обсуждается также и «защита от раздражающего воздействия».

[2] Ср. «Проект» 1895 года (1950), часть I, начало X раздела («*Ш*-функции»).

[3] Ср. «Проект» 1895 года (1950), часть I, вторая половина IV раздела («Биологическая точка зрения»).

изнутри, а извне, чтобы можно было применить к ним охранные средства защиты от раздражающего воздействия. Таково происхождение *проекции*, которой принадлежит столь важная роль в возникновении патологических процессов.

У меня создалось впечатление, что благодаря последним рассуждениям мы приблизились к пониманию господства принципа удовольствия; но мы не разъяснили те случаи, которые противоречат ему. Поэтому сделаем еще один шаг вперед. Такие внешние возбуждения, которые достаточно сильны, чтобы прорвать защиту от раздражающего воздействия, мы называем *травматическими*. Я думаю, что понятие травмы предполагает именно такую связь с обычно действенным предотвращением возбуждения. Такое событие, как внешняя травма, несомненно, вызовет существенное нарушение в энергетике организма и приведет в действие все средства защиты. Но принцип удовольствия при этом оказывается пока не у дел. Переполнения душевного аппарата большими количествами раздражения сдержать уже невозможно; скорее, теперь возникает другая задача — справиться с возбуждением, психически связать массы вторгшихся раздражителей, чтобы затем свести их на нет.

Вероятно, специфическое неудовольствие от физической боли есть следствие того, что защита от раздражающего воздействия была до некоторой степени прорвана. В таком случае от этого места периферии к центральному психическому аппарату устремляется непрерывный поток возбуждений, которые в обычных условиях могли поступать только изнутри аппарата[1]. Какую же реакцию психики мы можем ожидать в ответ на этот прорыв? Со всех сторон мобилизуется катектическая энергия, чтобы в месте прорыва и вокруг него создать соответственно высокие энергетические катексисы. Создается сильнейший «контркатексис», ради которого оскудевают все остальные психические системы, в результате чего существенно парализуется или ослабляется обычная психическая деятельность. На таких примерах мы пытаемся научиться применять свои метапсихологические гипотезы к прототипам подобного рода. Таким образом, из этого обстоя-

[1] Ср. «Влечения и их судьбы» (1915) и «Проект» 1895 года (1950), часть I, VI раздел («Боль»). Ср. также приложение «В» к работе «Торможение, симптом и страх» (1926).

тельства мы делаем вывод, что даже высококатектированная система способна воспринимать вновь поступающую энергию, преобразовывать ее в находящийся в состоянии покоя катексис, то есть психически «связывать» ее. Чем выше собственный находящийся в покое катексис, тем больше будет и его связывающая сила; и наоборот, чем ниже собственный катексис, тем меньше система будет способна к восприятию поступающей энергии[1], тем разрушительнее должны быть последствия такого прорыва защиты от раздражающего воздействия. На это мнение можно было бы возразить, что усиление катексиса вокруг места прорыва гораздо проще объяснить непосредственным распространением поступающих раздражений, но это возражение будет неверным. Будь это так, у душевного аппарата произошло бы только усиление энергетических катексисов, а парализующий характер боли и оскудение всех других систем остались бы необъясненными. Даже очень энергичные отводные действия боли не противоречат нашему объяснению, ибо они совершаются рефлекторно, то есть без посредничества психического аппарата. Неопределенность всех наших рассуждений, которые мы называем метапсихологическими, объясняется, разумеется, тем, что мы ничего не знаем о природе процесса возбуждения в элементах психических систем и не чувствуем себя вправе выдвигать на этот счет какие-либо предположения. Таким образом, мы всегда оперируем некоей большой неизвестной величиной, которую мы переносим в каждую новую формулу. Чтобы этот процесс осуществлялся с разными в количественном отношении энергиями — это требование, которое легко допустить; вполне вероятно также, что он характеризуется также больше, чем одним качеством (например, в виде амплитуды); новое в этом то, что мы принимаем во внимание идею Брейера о том, что речь здесь идет о двух формах наполнения энергией, и поэтому следует различать свободно текущий, стремящийся к отводу катексис и катексис психических систем (или их элементов), находящийся в состоянии покоя. Пожалуй, мы остановимся на предположении, что «связывание» проникающей в душевный аппарат энергии состоит в переводе ее из свободно текущего состояния в состояние покоя.

[1] Ср. «принцип невозбудимости некатектированных систем» в примечании к метапсихологической работе о сновидении (1917).

Я думаю, что можно сделать смелую попытку объяснить обычный травматический невроз как последствие обширного прорыва защиты от раздражающего воздействия. Тем самым, казалось бы, будет восстановлено в своих правах старое, наивное учение о шоке, находящееся, по-видимому, в противоречии с более поздней и психологически более взыскательной теорией, в которой этиологическое значение приписывается не воздействию механической силы, а испугу и угрозе жизни. Но эти противоречия не являются непримиримыми, а психоаналитическое понятие травматического невроза не тождественно наиболее грубой форме теории шока. Если последняя объясняет сущность шока непосредственным повреждением молекулярной или даже гистологической структуры нервных элементов, то мы стремимся понять его эффект исходя из прорыва защиты от раздражающего воздействия и из возникающих из этого задач. Момент испуга сохраняет свое значение и для нас. Его условие — отсутствие тревожной готовности, включающей в себя гиперкатексис систем, которые воспринимают раздражение в первую очередь. Вследствие такого пониженного катексиса системы не в состоянии как следует связывать поступающие количества возбуждения, и тем проще проявиться последствиям прорыва защиты от раздражающего воздействия. Таким образом, мы видим, что тревожная готовность вместе с гиперкатексисом воспринимающей системы представляют собой последний рубеж защиты от раздражающего воздействия. Для исхода целого ряда травм различие между неподготовленными системами и системами, подготовленными благодаря гиперкатексису, может быть решающим моментом; начиная с определенной силы травмы это различие, наверное, никакого значения уже не имеет. Если сновидения травматических невротиков регулярно возвращают больных в ситуацию несчастного случая, то этим, разумеется, они не служат исполнению желания, галлюцинаторное осуществление которого при господстве принципа удовольствия стало функцией сновидения. Но мы можем предположить, что они тем самым выполняют другую задачу, которая должна быть решена прежде, чем начнет проявлять свою власть принцип удовольствия. Эти сновидения пытаются задним числом справиться с раздражением, порождая страх, отсутствие которого стало причиной травматического невроза. Таким образом, они дают нам возможность понять функцию

душевного аппарата, которая, не противореча принципу удовольствия, все же не зависит от него и, видимо, предшествует стремлению к получению удовольствия и избеганию неудовольствия.

Итак, здесь сначала будет уместно признать исключение из того тезиса, что сновидение есть исполнение желания. Страшные сны таким исключением не являются, как я не раз подробно показывал, так же как и «сновидения о наказании», ибо они лишь ставят на место исполнения предосудительного желания полагающееся за это наказание, и, таким образом, являются исполнением желания чувствующего себя виновным сознания, реагирующего на отвергнутое влечение[1]. Однако вышеупомянутые сновидения травматических невротиков уже нельзя рассматривать с точки зрения исполнения желания, точно так же, как и встречающиеся в ходе психоанализа сновидения, которые воспроизводят воспоминания о психических травмах детства. Скорее они повинуются тенденции к навязчивому повторению, которая подкрепляется в анализе желанием, вызванным «суггестией»[2], воскресить забытое и вытесненное. Таким образом, функция сновидения, заключающаяся в устранении поводов к прерыванию сна путем исполнения желаний мешающих порывов, также не является первоначальной; оно могло справиться с ними только после того, как вся душевная жизнь признала господство принципа удовольствия. Если же существует нечто «по ту сторону принципа удовольствия», то будет логичным также допустить период, предшествующий тенденции сновидения к исполнению желания. Это не противоречит его более поздней функции. Но если эта тенденция однажды была нарушена, возникает следующий вопрос: возможны ли и вне анализа такие сны, которые в интересах психического связывания травматических впечатлений следуют тенденции навязчивого повторения? На это вполне можно дать утвердительный ответ.

О «военных неврозах», насколько это название означает больше, нежели просто связь с поводом недуга, я в другом месте говорил, что они вполне могли бы быть травмати-

[1] См. «Толкование сновидений» (1900) и раздел IX в работе Фрейда «Заметки о теории и практике толкования сновидений» (1923).

[2] С 1923 года выражение «вызванным “суггестией”» употребляется вместо прежней формулировки «не бессознательным».

ческими неврозами, возникновению которых способствует конфликт Я[1]. Тот факт, что одновременное грубое повреждение, вызванное травмой, уменьшает шансы на возникновение невроза, уже не будет непонятным, если вспомнить о двух обстоятельствах, особо подчеркиваемых в психоаналитическом исследовании. Во-первых, что механическое сотрясение нужно признать одним из источников сексуального возбуждения (ср. замечания о воздействии тряски и езды по железной дороге в «Трех очерках по теории сексуальности»), и, во-вторых, что болезненное и лихорадочное состояние, пока оно длится, оказывает сильное влияние на распределение либидо. Таким образом, механическая сила травмы высвобождает определенное количество сексуального возбуждения, которое оказывает травматическое воздействие из-за недостаточной тревожной готовности, а одновременное телесное повреждение связало бы избыток возбуждения посредством нарциссического гиперкатексиса пострадавшего органа (см. «О введении понятия “нарцизм”» (1914). Известно также, хотя это и недостаточно использовалось в теории либидо, что такие тяжелые нарушения в распределении либидо, как поражения при меланхолии, могут на какое-то время устраняться интеркуррентным органическим заболеванием, более того, даже состояние полностью развившейся dementia praecox в аналогичных условиях способно к временной инволюции.

5

Отсутствие у коркового слоя, воспринимающего раздражители, защиты от воздействия внутренних возбуждений, видимо, приводит к тому, что эти передачи раздражения приобретают большее экономическое значение и часто дают повод к экономическим нарушениям, которые можно сравнить с нарушениями при травматических неврозах. Самые мощные источники такого внутреннего возбуждения — так называемые влечения организма как репрезентанты всех проистекающих изнутри тела, возникающих внутри организма и перенесенных на душевный аппарат силовых воздействий, самый важный, равно как и самый непонятный элемент психологического исследования.

[1] «О психоанализе военных неврозов», введение (1919).

Наверное, не будет слишком смелым предположение, что импульсы, исходящие от влечений, по своему типу относятся не к связанным, а к свободно подвижным, стремящимся к отводу нервным процессам. Самое главное, что мы знаем об этих процессах, мы почерпнули из изучения сновидений. Причем мы обнаружили, что процессы в бессознательных системах коренным образом отличаются от процессов в (пред)сознательных системах, что в бессознательном катексисы легко могут полностью переноситься, смещаться, уплотняться, что могло бы давать только ошибочные результаты, если бы это происходило на предсознательном материале, и что проявляется в знакомых нам странностях явного содержания сновидения, после того как предсознательные следы дневных впечатлений подверглись переработке по законам бессознательного. Этот вид процессов, протекающих в бессознательном, в противоположность вторичному процессу, характерному для нашей обычной жизни в состоянии бодрствования, я назвал «первичным» психическим процессом. Поскольку все импульсы влечений оказывают воздействие на бессознательные системы, вряд ли будет чем-то новым утверждение, что они следуют за первичным процессом; с другой стороны, мало что требуется для отождествления первичного психического процесса со свободно подвижным катексисом, а вторичного процесса — с изменениями связанного или тонического катексиса, по Брейеру. В таком случае задача более высоких слоев душевного аппарата состояла бы в связывании возбуждения, проистекающего от влечений, при достижении им первичного процесса. Неудача такого связывания вызвала бы поражение, аналогичное травматическому неврозу; только после произошедшего связывания принцип удовольствия (и его модификация в принцип реальности) мог бы беспрепятственно установить свою власть. Но до тех пор душевному аппарату предстояло бы сначала решить другую задачу — справиться с возбуждением или связать его, что хотя и не противоречит принципу удовольствия, но независимо от него и отчасти даже его не учитывает.

Проявления навязчивого повторения, описанные нами на примере душевной деятельности в раннем детском возрасте, а также событий в рамках психоаналитического лечения, в большой степени отличаются инстинктивным, а там, где они находятся в противоречии с принципом удовольствия, «демо-

ническим» характером. В детской игре мы, кажется, понимаем, что ребенок повторяет даже неприятное переживание потому, что благодаря своей активности он более основательно справляется с сильным впечатлением, чем это возможно при пассивном переживании. Похоже, что каждое новое повторение совершенствует это самообладание, к которому он стремится, и даже в случае приятных переживаний ребенок не может удовлетвориться этими повторениями и будет непреклонно настаивать на идентичности этого впечатления. Предопределено, что эта характерная особенность впоследствии исчезнет. Острота, услышанная во второй раз, не производит почти никакого впечатления, театральное представление никогда не окажет во второй раз того воздействия, которое оно произвело в первый; более того, взрослого трудно заставить еще раз перечитать книгу, которая ему очень понравилась, вскоре после первого прочтения. Новизна всегда будет условием получения удовольствия. Ребенок же без устали будет требовать от взрослого повторения показанной ему или сыгранной вместе с ним игры, пока тот в изнеможении не откажется от этого, и если ему рассказали интересную историю, он снова и снова будет хотеть услышать эту историю вместо новой; он непреклонно настаивает на полной идентичности повторения и исправляет всякое изменение, которое позволяет себе рассказчик, даже если тот хотел заслужить таким способом одобрение ребенка[1]. Причем здесь нет никакого противоречия принципу удовольствия; очевидно, что это повторение, обретение заново идентичности, само по себе означает источник удовольствия. И наоборот, становится ясным, что у анализируемого человека принуждение повторять в ситуации переноса события своего детства в *любом* случае выходит за рамки принципа удовольствия. При этом больной ведет себя совсем как ребенок, демонстрируя нам, что вытесненные следы воспоминаний о его очень давних переживаниях находятся у него в несвязанном состоянии и даже до известной степени не способны к вторичному процессу. Благодаря этому отсутствию связанности они также обладают способностью, присоединяясь к остаткам дня, образовывать фантазию-желание, которая изображается в сновидении. Это же

[1] Ср. некоторые замечания по этому поводу в конце VI раздела главы VII книги Фрейда об остроумии (1905).

навязчивое повторение очень часто выступает для нас как препятствие в терапевтической работе, когда в конце лечения мы хотим добиться полного отделения больного от врача, и можно предположить, что смутный страх у людей, не знакомых с анализом, которые боятся пробудить что-либо, что, по их мнению, лучше оставить спящим, — это, по существу, страх перед появлением такого демонического принуждения.

Но каким образом связаны между собой влечения и принуждение к повторению? Здесь напрашивается мысль, что мы напали на след некоторой общей, до сих пор четко не распознанной — или по крайней мере явно не подчеркивавшейся[1] — характеристики влечений, быть может, даже вообще всей органической жизни. *Влечение, следовательно, можно было бы определить как присущее живому организму стремление к восстановлению прежнего состояния*, от которого под влиянием внешних мешающих сил этому живому существу пришлось отказаться, своего рода органическая эластичность, или — если угодно — выражение инертности в органической жизни[2].

Такое понимание влечений кажется странным, ибо мы привыкли усматривать в них момент, побуждающий к изменению и развитию, а теперь должны признать полностью противоположное — выражение *консервативной* природы живого. С другой стороны, нам вскоре приходят на ум примеры из жизни животных, которые, по-видимому, подтверждают историческую обусловленность влечений. Когда некоторые рыбы во время нереста отправляются в далекий и трудный путь, чтобы метать икру в определенных водоемах, удаленных на значительные расстояния от их обычных мест обитания, они, по мнению многих биологов, лишь возвращаются на старые места, где когда-то обитал их вид и которые они с течением времени сменили на другие. То же самое относится и к перелетам птиц; но от поисков дальнейших примеров нас вскоре избавит напоминание, что феномены наследственности и факты эмбриологии дают нам прекрасные доказательства органического навязчивого повторения. Мы видим, что зародыш живущего сейчас животного вынужден в своем раз-

---

[1] Слова, выделенные тире, были добавлены в 1921 году.

[2] Не сомневаюсь, что подобные предположения о природе «влечений» уже не раз высказывались.

витии повторить — пусть даже в беглом сокращении — структуры всех тех форм, от которых происходит это животное, вместо того чтобы кратчайшим путем быстро прийти к своему окончательному внешнему виду. Мы можем лишь в весьма незначительной степени объяснить это обстоятельство механически и не вправе оставлять в стороне историческое объяснение. И точно так же далеко в историю мира животных простирается способность к репродукции, благодаря которой утерянный орган заменяется другим, полностью ему идентичным.

Конечно, нельзя не учитывать напрашивающегося возражения, что помимо консервативных влечений, вынуждающих к повторению, есть также другие — побуждающие к обновлению и прогрессу; впоследствии мы также должны будем включить это в свои рассуждения[1]. Но прежде нам кажется заманчивым проследить все выводы из предположения, что все влечения стремятся восстановить прежнее состояние. Пусть то, что при этом получится, покажется «глубокомысленным» или прозвучит мистически, но мы-то знаем, что не заслуживаем упрека в стремлении к чему-то подобному. Мы хотим получить надежные результаты исследования или основанной на них идеи, и наше желание — лишь придать им характер достоверности[2].

Таким образом, если все органические влечения консервативны, приобретены исторически и направлены на регрессию, на восстановление прежнего состояния, то успехи органического развития мы должны отнести на счет внешних, мешающих и отвлекающих влияний. С самого начала элементарное живое существо не хотело бы изменяться, при неизменных условиях всегда повторяло бы лишь один и тот же жизненный путь. Но в конечном счете именно история развития нашей Земли и ее отношения к Солнцу должна была наложить свой отпечаток на развитие организмов. Консервативные органические влечения восприняли каждое из этих навязанных изменений жизненного пути и сохранили их для повторения; таким образом, они должны были создать об-

[1] Часть предложения после точки с запятой была добавлена в 1921 году.

[2] *Дополнение, сделанное в 1925 году:* «Не следует упускать из виду, что дальнейшее представляет собой развитие до крайности заостренной идеи, которая позднее, при рассмотрении сексуальных влечений, будет ограничена и скорректирована».

манчивое впечатление о силах, стремящихся к изменению и прогрессу, тогда как они просто-напросто стремятся достичь старой цели и старыми, и новыми способами. На эту конечную цель всякого органического стремления также можно было бы указать. Если бы целью жизни было некое состояние, прежде никогда еще не достигавшееся, то это противоречило бы консервативной природе влечений. Скорее всего, этой целью должно быть старое исходное состояние, в котором некогда пребывало живое существо и к которому оно стремится вернуться любыми окольными путями развития. Если мы примем в качестве не знающего исключений факта тот опыт, что все живое умирает в силу *внутренних* причин, возвращается к неорганическому, то мы можем только сказать: *цель всякой жизни есть смерть*, и возвращаясь к прежней идее: *неживое существовало раньше живого*.

Когда-то под воздействием неких сил, которые пока еще совершенно невозможно представить себе, в неодушевленной материи были пробуждены свойства живого. Возможно, это был процесс, аналогичный и послуживший образцом другому процессу, который позднее привел к возникновению сознания в определенном слое живой материи. Напряжение, возникшее в неживой дотоле материи, стремилось прийти к равновесию; таково было первое влечение — влечение вернуться к неживому. Жившая в то время субстанция могла легко умереть, ее жизненный путь, вероятно, был короток, а его направление определялось химической структурой молодой жизни. Наверное, на протяжении долгого времени живая субстанция создавалась снова и снова и так же легко умирала, пока внешние определяющие воздействия не изменились настолько, что вынудили субстанцию, перед которой по-прежнему стояла задача выживания, к еще большим отклонениям от первоначального жизненного пути и ко все более сложным окольным путям для достижения цели смерти. Эти окольные пути к смерти, надежно закрепленные консервативными влечениями, дают нам сегодня картину жизненных явлений. Если придерживаться идеи об исключительно консервативной природе влечений, то к другим предположениям о происхождении и цели жизни прийти невозможно.

В таком случае так же странно, как и эти выводы, звучит то, что можно сказать о больших группах влечений, стоящих, по нашему мнению, за жизненными проявлениями организ-

мов. Идея о существовании влечений к самосохранению, которые мы признаем за любым живым существом, удивительным образом противоречит предположению о том, что вся жизнь, определяемая влечениями, служит достижению смерти. С этой точки зрения теоретическое значение влечения к самосохранению, влечений к власти и к признанию существенно ограничивается; это парциальные влечения, предназначенные для обеспечения организму собственного пути к смерти и недопущения других возможностей возвращения к неорганическому состоянию, кроме внутренне ему присущих. Таким образом, отпадает загадочное, ни с чем не связанное стремление организма утвердить себя наперекор всему миру. Остается признать, что организм лишь хочет умереть по-своему; также и эти защитники жизни первоначально были пособниками смерти. При этом возникает парадокс — живой организм самым энергичным образом сопротивляется воздействиям (опасностям), которые могли бы ему помочь достичь своей цели жизни кратчайшим путем (так сказать, путем короткого замыкания), но это поведение характеризует как раз чисто инстинктивное стремление в противоположность интеллектуальному[1].

Но задумаемся — ведь этого не может быть! Совсем в другом свете предстают сексуальные влечения, которым в учении о неврозах отведено особое место. Не все организмы подчинены внешнему принуждению, побуждавшему их развиваться все дальше и дальше. Многим вплоть до настоящего времени удавалось удерживаться на своей низкой ступени; еще и сегодня живут если не все, то все же многие существа, которые, должно быть, аналогичны предшествующим формам высших животных и растений. И точно так же не все элементарные организмы, из которых состоит сложное тело высшего живого существа, проходят весь путь развития до своей естественной смерти. Некоторые из них, например, зародышевые клетки, вероятно, сохраняют, первоначальную структуру живой субстанции и через какое-то время отделяются от организма, наделенные всеми унаследованными и вновь приобретенными задатками влечений. Возможно, именно эти два качества и позволяют им суще-

[1] В изданиях до 1925 года к этому месту дается следующее примечание: «Ср., кстати, сделанную позднее корректировку этого экстремального представления о влечениях к самосохранению».

ствовать самостоятельно. Оказавшись в благоприятных условиях, они начинают развиваться, то есть повторять весь цикл, которому они обязаны своим существованием, и это завершается тем, что опять-таки одна часть их субстанции продолжает свое развитие до конца, тогда как другая в качестве нового зародышевого остатка начинает развитие с самого начала. Таким образом, эти зародышевые клетки противодействуют умиранию живой субстанции и достигают того, что должно показаться нам потенциальным бессмертием, хотя это, возможно, означает лишь продление смертного пути. Для нас необычайно важен тот факт, что эта функция зародышевой клетки укрепляется или вообще становится возможной лишь благодаря слиянию с другой клеткой, похожей на нее, но все же отличной от нее.

Влечения, заботящиеся о судьбах этих элементарных организмов, которые живут дольше отдельного существа, стремящиеся поместить их в надежное место, пока они беззащитны перед раздражителями внешнего мира, обеспечивающие их встречу с другими зародышевыми клетками и т. д., образуют группу сексуальных влечений. Они консервативны в том же смысле, что и другие, воспроизводя прежние состояния живой субстанции, но они консервативны в большей степени, оказываясь особенно устойчивыми к внешним воздействиям, и, кроме того, еще в более широком смысле, сохраняя саму жизнь на долгие времена[1]. Они, собственно, и есть влечения к жизни; в том, что они противодействуют намерению других влечений, по своей функции ведущих к смерти, проявляется противоречие между ними и прочими влечениями, значение которого уже давно было признано в теории неврозов. Это похоже на колебательный ритм в жизни организмов; одна группа влечений стремится вперед, чтобы как можно скорее достичь конечной цели жизни, другая группа на известном этапе этого пути устремляется назад, чтобы начиная с определенного пункта проделать путь снова и тем самым увеличить его продолжительность. Но даже если сексуальность и различие полов в начале жизни наверняка не существовали, то все же остается возможным, что влечения, которые впоследствии стали обозначаться как сексуальные, действовали

[1] *Дополнение, сделанное в 1923 году:* «И все же именно их мы можем рассматривать как внутреннюю тенденцию к “прогрессу” и к более высокому развитию!»

изначально, и их противоборство с «влечениями Я» началось именно тогда, а не в какое-то более позднее время[1].

Но теперь давайте впервые вернемся назад, чтобы спросить, не лишены ли основания все эти умозрительные заключения. Действительно ли не существует, *если не считать сексуальных влечений*[2], других влечений как таковых, которые стремятся восстановить прежнее состояние, и нет ли таких влечений, которые стремятся к состоянию, еще никогда не достигавшемуся? В органическом мире я не знаю ни одного надежного примера, который противоречил бы предложенной нами характеристике. Разумеется, в мире животных и растений нельзя констатировать всеобщего влечения к высшему развитию, хотя фактически такое направление развития остается неоспоримым. Но, с одной стороны, это, скорее, всего лишь вопрос нашей оценки, когда одну ступень развития мы объявляем более высокой, чем другую, а с другой стороны, наука о живых существах показывает нам, что более высокое развитие в одном очень часто достигается или возмещается за счет регресса в другом. Кроме того, существует достаточно видов животных, ранние формы которых позволяют нам говорить, что их развитие скорее приняло регрессивный характер. Более высокое, равно как и регрессивное, развитие может быть результатом влияния внешних сил, вынуждающих к приспособлению, и роль влечений в обоих случаях, возможно, ограничивается тем, что они закрепляют вынужденное изменение в качестве внутреннего источника удовольствия[3].

Наверное, многим из нас трудно будет отказаться от веры в то, что в самом человеке живет влечение к совершенствованию, которое привело его на современную высоту духовных

---

[1] *Дополнение, сделанное в 1925 году:* «Из данного контекста должно стать понятным, что “влечения Я” здесь рассматриваются лишь как предварительное название, связанное с первыми понятиями, введенными в психоанализе».

[2] Эти три слова стали выделяться типографским способом только с 1921 года.

[3] Ш. Ференци пришел к возможности такого же понимания другим путем («Ступени развития чувства действительности», 1913): «Если последовательно довести до конца этот ход мыслей, то нужно признать идею о наличии инерционной или даже регрессивной тенденции, господствующей также и в органической жизни, тогда как тенденция поступательного развития, приспособления и т. д. актуализируется лишь в ответ на внешние раздражители».

достижений и этической сублимации и от которого можно ждать, что оно обеспечит его развитие до сверхчеловека. Но я лично не верю в существование такого внутреннего влечения и не вижу способа сохранить эту приятную иллюзию. Мне кажется, что все прежнее развитие человека объясняется так же, как и развитие животных, а наблюдаемое у небольшой части людей неустанное стремление к дальнейшему совершенствованию легко можно объяснить последствием вытеснения влечений, на котором и зиждется все самое ценное в человеческой культуре. Вытесненное влечение никогда не перестает стремиться к своему полному удовлетворению, которое состоит в повторении первого переживания удовлетворения; замещающих образований, реактивных образований и сублимаций недостаточно, чтобы устранить его сдерживающее напряжение, а вследствие расхождения между полученным и требуемым удовольствием при удовлетворении возникает побуждающий момент, который не позволяет останавливаться ни на одной из создавшихся ситуаций, а, по словам поэта, «вперед влечет неудержимо» (Мефистофель в «Фаусте», I [4-я сцена], «Кабинет Фауста»). Путь назад к полному удовлетворению, как правило, прегражден сопротивлениями, сохраняющими вытеснение, и, таким образом, не остается ничего иного, как продвигаться в другом, пока еще свободном направлении развития, правда, без перспективы завершить процесс и достичь цели. Процессы при образовании невротической фобии, которая, по существу, есть не что иное, как попытка к бегству от удовлетворения влечения, служат нам образцом возникновения этого мнимого «влечения к совершенствованию», которое мы, однако, не можем приписать всем человеческим индивидам. Хотя динамические условия для него существуют повсюду, экономические условия способствуют возникновению этого феномена, по-видимому, лишь в редких случаях.

Однако следует в нескольких словах указать на вероятность того, что стремление эроса объединять органическое во все большие единицы заменяет не признаваемое нами «влечение к совершенствованию». Вкупе с воздействиями вытеснения оно могло бы объяснить феномены, приписываемые последнему[1].

---

[1] Этот добавленный в 1923 году абзац подводит к описанию эроса в следующей главе.

6

Наш предыдущий вывод, устанавливающий полную противоположность между «влечениями Я» и сексуальными влечениями, сводя первые к смерти, а последние — к продолжению жизни, несомненно, во многих отношениях не удовлетворит нас самих. Добавим к этому, что о консервативном или, точнее, регрессивном характере влечений, соответствующем навязчивому повторению, мы могли говорить, собственно, только в случае первых влечений. Ибо, согласно нашему предположению, влечения Я восходят к оживлению неживой материи и стремятся восстановить состояние неживого. Сексуальные влечения ведут себя совершенно иначе — очевидно, что они воспроизводят примитивные состояния живого существа, но цель, к которой они стремятся всеми возможными средствами, состоит в слиянии двух определенным образом дифференцированных зародышевых клеток. Если этого соединения не происходит, зародышевая клетка умирает подобно всем остальным элементам многоклеточного организма. Только при этом условии половая функция может продлевать жизнь и придавать ей видимость бессмертия. Какое же важное событие в ходе развития живой субстанции повторяется благодаря половому размножению или его предтече — копуляции двух индивидов среди одноклеточных?[1] На это мы ничего ответить не можем, и поэтому восприняли бы с облегчением, если бы все наши мыслительные построения оказались ошибочными. Тогда противопоставление влечений Я (к смерти[2]) и сексуальных влечений (к жизни) отпало бы тогда само собой, тем самым и навязчивое повторение тоже утратило бы приписываемое ему значение.

Поэтому вернемся к одному из затронутых нами предположений, ожидая, что его можно будет полностью опровергнуть. Основываясь на этой предпосылке, мы далее сделали вывод, что все живое в силу внутренних причин должно умереть. Мы так беспечно высказали это предположение именно потому, что оно таковым нам не кажется. Мы привыкли так думать, наши поэты подкрепляют нас в этом. Возможно, мы

[1] В дальнейшем Фрейд, говоря об одноклеточном живом существе, использует обозначения «одноклеточные» или «простейшие».

[2] В опубликованных работах Фрейда этот термин здесь появляется впервые.

решились на это потому, что подобное верование дает утешение. Если суждено самому умереть и перед тем потерять своих любимых, то лучше уж подчиниться неумолимому закону природы, величественной αναγχη [необходимости], чем случайности, которой можно было бы избежать. Но, быть может, эта вера во внутреннюю закономерность смерти — тоже всего лишь иллюзия, нами созданная, «чтобы вынести тяготы бытия»?[1] Во всяком случае, эта вера не изначальна, первобытным народам идея «естественной смерти» чужда; они объясняют каждую смерть влиянием врага или злого духа. Поэтому для проверки этого верования обратимся к биологической науке.

Поступив таким образом, мы, возможно, будем удивлены тем, насколько мало согласия между биологами в вопросе о естественной смерти, да и само понятие смерти у них растекается. Факт определенной средней продолжительности жизни, по крайней мере у высших животных, свидетельствует, разумеется, о смерти от внутренних причин, но то обстоятельство, что отдельные крупные животные и гигантские деревья достигают очень большого возраста, который до сих пор оценить невозможно, опять-таки сводит на нет это впечатление. Согласно прекрасной концепции В. Флисса (1906), все жизненные проявления организмов — конечно, также и смерть — связаны с наступлением определенных сроков, в которых выражается зависимость двух живых субстанций — мужской и женской — от солнечного года. Однако наблюдения, свидетельствующие о том, насколько легко и в какой степени под влиянием внешних сил могут измениться — особенно в растительном мире — во временном аспекте проявления жизни (ускориться или затормозиться) не укладываются в жесткие формулы Флисса и, как минимум, заставляют усомниться в единовластии установленных им законов.

Наибольший интерес вызывает у нас та трактовка, которую вопрос о продолжительности жизни и о смерти организмов получил в работах А. Вейсмана (1882, 1884, 1892 и др.). Этому исследователю принадлежит идея о разделении живой субстанции на смертную и бессмертную половины; смертная половина — это тело в узком значении слова, то есть сома; только она одна подвержена естественной смерти, зароды-

[1] Шиллер «Мессинская невеста», акт I, 8-я сцена.

шевые же клетки потенциально бессмертны, поскольку при известных благоприятных условиях они способны развиться в новый индивид или, выражаясь иначе, окружить себя новой сомой[1].

Что нас здесь привлекает, так это неожиданная аналогия с нашим собственным пониманием, к которому мы пришли совершенно иным путем. Вейсман, рассматривающий живую субстанцию с морфологической точки зрения, выявляет в ней составную часть, подверженную смерти — сому, тело — независимо от пола и наследственности, а также бессмертную часть, а именно зародышевую плазму, которая служит сохранению вида, размножению. Мы рассматривали не живую материю, а действующие в ней силы, и пришли к разграничению двух видов влечений — одних влечений, которые хотят привести жизнь к смерти, и других, сексуальных, влечений, которые постоянно стремятся к обновлению жизни. Это выглядит как динамическое следствие морфологической теории Вейсмана. Но видимость многозначительного совпадения исчезает, как только мы обращаемся к решению Вейсманом проблемы смерти. Ибо Вейсман допускает различие смертной сомы и бессмертной зародышевой плазмы только у многоклеточных организмов, тогда как у одноклеточных животных индивид и клетка, служащая продолжению рода, не различаются[2]. То есть он считает одноклеточные организмы потенциально бессмертными, смерть наступает только у многоклеточных. Правда, эта смерть высших живых существ — естественная, то есть смерть в силу внутренних причин, но она не основывается на исходных свойствах живой субстанции[3], не может пониматься как абсолютная необходимость, обусловленная сущностью жизни[4]. Смерть — это скорее свойство целесообразности, проявление адаптации к внешним условиям жизни, поскольку после разделения клеток тела на сому и зародышевую плазму неограниченная продолжительность жизни индивида стала бы совершенно нецелесообразной роскошью. С возникновением у многоклеточных этой дифференциации смерть стала возможной и целесообразной. С тех пор сома высших живых существ в силу внутренних причин к

[1] *Weismann*, 1884.
[2] Там же, 1882, 38.
[3] Там же, 1884, 84.
[4] Там же, 1882, 33.

определенному времени отмирает, одноклеточные же остались бессмертными. И наоборот, размножение не возникло лишь с появлением смерти, скорее, оно представляет собой первичное свойство живой материи, как и рост, от которого оно произошло, и жизнь на земле с самого начала оставалась непрерывной[1].

Нетрудно убедиться, что признание естественной смерти для высших организмов мало чем помогает нашему делу. Если смерть — это всего лишь позднее приобретение живых существ, то тогда влечения к смерти, которые восходят к самому началу жизни на земле, можно и не рассматривать. Тогда многоклеточные все же могут умирать по внутренним причинам, от недостатков своей дифференциации или несовершенства обмена веществ; для вопроса, который нас занимает, это интереса не представляет. Несомненно, такое понимание смерти и ее происхождения для привычного мышления человека также гораздо ближе, чем странное предположение о «влечениях к смерти».

Дискуссия, последовавшая за формулировками Вейсмана, на мой взгляд, ни в одном направлении ничего определенного не дала[2]. Некоторые авторы вернулись к точке зрения Гёте (1883), который видел в смерти прямое следствие размножения. Гартман характеризует смерть не появлением «трупа», отмершей части живой субстанции, а определяет ее как «завершение индивидуального развития». В этом смысле смертны и простейшие, смерть всегда совпадает у них с размножением, но этим она в известной степени оказывается завуалированной, поскольку субстанция животного-родителя может быть непосредственно переведена в молодых индивидов-детей[3].

Вскоре после этого интерес исследователей обратился к экспериментальной проверке постулируемого бессмертия живой субстанции у одноклеточных. Американец Вудрафф выращивал ресничную инфузорию-туфельку, которая размножается делением на два индивида, и прослеживал это деление до 3029-го поколения, на котором он прервал свой опыт; каждый раз он изолировал один из продуктов деления и по-

[1] *Weismann*, 1884, 84–85.
[2] Ср. *Max Hartmann*, 1906; *Alex Lipschütz*, 1914; *Franz Doflein*, 1919.
[3] *Hartmann*, 1906, 29.

мещал его в свежую воду. Этот поздний потомок первой туфельки был так же свеж, как его прародительница, без каких-либо следов старения или дегенерации. Этим, если считать такие количества доказательными, казалось, было экспериментально подтверждено бессмертие простейших[1].

Другие исследователи пришли к иным результатам. Мопа, Калкинс и др. в противоположность Вудраффу обнаружили, что и эти инфузории после определенного числа делений также становятся слабее, уменьшаются в размере, теряют часть своей организации и в конце концов умирают, если не подвергнутся определенному освежающему воздействию. Следовательно, после фазы возрастного распада простейшие умирают точно так же, как и высшие животные, в противоположность утверждениям Вейсмана, который считает смерть более поздним приобретением живых организмов.

В результате сопоставления этих исследований мы выделяем два факта, на которые, по-видимому, можно опереться. Во-первых: если эти организмы в момент, когда у них еще не проявляются возрастные изменения, способны слиться друг с другом, «копулировать» — после чего через некоторое время они снова разъединяются, — то они избегают старения, они «омолодились». Но эта копуляция, пожалуй, — лишь предтеча полового размножения высших существ; она пока еще не имеет ничего общего с увеличением численности, ограничивается смешением субстанций двух индивидов (амфимиксис, по Вейсману). Однако освежающее влияние копуляции можно также заменить определенными раздражающими средствами, изменением состава питательной жидкости, повышением температуры или встряхиванием. Вспомним знаменитый опыт Ж. Лёба, который определенными химическими раздражителями вызывал в яйцах морского ежа процессы деления, обычно возникающие только после оплодотворения[2].

Во-вторых: все же вполне вероятно, что инфузории приходят к естественной смерти вследствие своих собственных жизненных процессов, ибо расхождение между данными Вудраффа и других исследователей возникает из-за того, что Вудрафф помещал каждое новое поколение инфузорий в свежую питательную жидкость. Если бы он этого не делал, то

---

[1] Об этом и следующем см. *Lipschütz*, 1914, 26, 52 etc.

[2] Этот эксперимент впервые был проведен в 1899 году, ср. *Loeb*, 1909.

наблюдал бы такие же возрастные изменения у поколений, как и другие исследователи. Он пришел к выводу, что этим организмам вредят продукты обмена веществ, которые они отдают окружающей жидкости, а затем сумел убедительно доказать, что только продукты *собственного* обмена веществ оказывают воздействие, ведущее к смерти поколения. Ведь те же самые организмы, которые непременно погибали, скопившись в своей собственной питательной жидкости, прекрасно развивались в растворе, перенасыщенном продуктами распада отдаленного родственного вида. Таким образом, инфузория, предоставленная самой себе, умирает естественной смертью из-за несовершенства удаления продуктов собственного обмена веществ; но, может быть, и все высшие животные умирают, в сущности, вследствие такой же неспособности.

Возможно, здесь возникнет сомнение, целесообразно ли было вообще искать решение вопроса о естественной смерти в изучении простейших. Примитивная организация этих живых существ, быть может, скрывает от нас важные условия, которые есть также и у них, но выявляются только у высших животных, у которых они нашли морфологическое выражение. Если мы оставим морфологическую точку зрения, чтобы встать на динамическую, то нам вообще может стать безразличным, доказуема или недоказуема естественная смерть простейших. Субстанция, впоследствии признанная бессмертной, никак не отделена у них от смертной. Силы влечений, стремящиеся перевести жизнь в смерть, могут действовать у них с самого начала, и все же их эффект может настолько перекрываться сохраняющими жизнь силами, что непосредственное доказательство их наличия становится очень сложным. Однако мы слышали, что наблюдения биологов позволяют сделать предположение о наличии таких внутренних процессов, ведущих к смерти, также и в отношении простейших. Но если даже простейшие оказываются бессмертными в понимании Вейсмана, то его утверждение, что смерть — это позднее приобретение, сохраняет свою силу лишь для явных проявлений смерти и не исключает гипотезы о процессах, ведущих к смерти. Наши ожидания, что биология с легкостью опровергнет гипотезу о влечениях к смерти, не оправдались. Мы можем продолжать обсуждать такую возможность, если у нас будут для этого основания. И все же поразительное сходство предложенного Вейсманом деления на сому и зародыше-

вую плазму с нашим делением на влечения к смерти и влечения к жизни сохраняется и вновь приобретает значение.

Остановимся вкратце на этом строго дуалистическом понимании инстинктивной жизни. Согласно теории Э. Геринга о процессах в живой субстанции, в ней непрерывно протекают два рода процессов противоположного направления, один созидающий, ассимилирующий, другой — разрушающий, диссимилирующий[1]. Осмелимся ли мы признать в этих двух направлениях жизненных процессов действие двух наших импульсов влечений — влечений к жизни и влечений к смерти? Но есть нечто другое, чего нам не утаить: нежданно-негаданно мы зашли в гавань философии Шопенгауэра, для которого смерть есть «собственно результат» и, следовательно, цель жизни, а сексуальное влечение — воплощение воли к жизни.

Попытаемся сделать еще один смелый шаг. По общему мнению, объединение многочисленных клеток в один жизненный союз, то есть многоклеточность организмов, стало средством увеличения продолжительности их жизни. Одна клетка служит сохранению жизни другой, и клеточное государство может продолжать жить, даже если отдельные клетки вынуждены отмирать. Мы уже слышали, что копуляция, временное слияние двух одноклеточных, поддерживает жизнь обеих клеток и омолаживает их. В таком случае можно было бы сделать попытку перенести теорию либидо, разработанную в психоанализе, на отношения клеток между собой и представить себе, что именно жизненные или сексуальные влечения, действующие в каждой клетке, делают своим объектом другие клетки, частично нейтрализуют их влечения к смерти, то есть стимулируемые ими процессы, и таким образом сохраняют им жизнь, тогда как другие клетки делают то же самое для них, а третьи жертвуют собой для осуществления этой либидинозной функции. Сами зародышевые клетки вели бы себя абсолютно «нарциссически», как мы привыкли обозначать это в теории неврозов, когда весь индивид целиком сохраняет свое либидо в Я и совсем не расходует его на катексис объектов. Зародышевые клетки нуждаются в своем либидо, в деятельности своих жизненных влечений для самих себя,

[1] Ср. *Hering*, 1878, 77 etc. — В приложении А к работе «Бессознательное», с. 163, содержатся некоторые указания на то, что физиолог Эвальд Геринг, возможно, также повлиял на формирование у Фрейда понятия бессознательного.

чтобы иметь запас для своей последующей великолепной созидательной деятельности. Наверное, и клетки злокачественных новообразований, разрушающих организм, также можно охарактеризовать в том же самом смысле как нарциссические. Ведь патология готова считать их зародыши рожденными вместе с ними и признать за ними эмбриональные свойства[1]. Таким образом, либидо наших сексуальных влечений совпало бы с Эросом поэтов и философов, объединяющим все живое.

Здесь у нас есть повод проследить постепенное развитие нашей теории либидо. Вначале анализ неврозов переноса заставил нас провести различие между «сексуальными влечениями», которые направлены на объект, и другими влечениями, которые мы понимали только отчасти и предварительно обозначили как «влечения Я»[2]. Среди них в первую очередь следовало признать влечения, служащие самосохранению индивида. Какие еще надо было провести различия — никто не знал. Никакие знания не были бы столь важны для обоснования правильной психологии, как приблизительное понимание общей природы и некоторых особенностей влечений. Но ни в одной из областей психологии мы не пребывали в таком неведении. Каждый устанавливал столько влечений, или «основных влечений», сколько ему хотелось, и распоряжался ими, как древние греческие натурфилософы своими четырьмя стихиями: водой, землей, огнем и воздухом. Психоанализ, который не мог обойтись без гипотезы о влечениях, сначала придерживался популярного разделения влечений, прообразом которого являются слова о «любви и голоде». По крайней мере такое разделение не было новым актом произвола. Оно во многом обогатило анализ психоневрозов. Однако понятие «сексуальность» — и вместе с ним понятие сексуального влечения — пришлось расширить, пока оно не стало включать в себя многое из того, что не укладывалось в функцию размножения, и это вызвало немало шума в строгом, аристократическом или просто ханжеском мире.

Следующий шаг был сделан, когда психоанализ постепенно сумел приблизиться к психологическому понятию «Я», которое сначала стало известным ему лишь как вытесняю-

[1] Два последних предложения были добавлены в 1921 году.

[2] См., например, описание упомянутого противопоставления в статье Фрейда, посвященной психогенному нарушению зрения (1910).

щая, осуществляющая цензуру инстанция, способствующая созданию защитных построений и реактивных образований. Правда, критичные и другие дальновидные умы уже давно возражали против ограничения понятия либидо как энергии сексуальных влечений, направленных на объект. Но они не соизволили сообщить, откуда у них взялось это лучшее понимание, и не сумели вывести из него что-либо пригодное для анализа. В ходе дальнейших более тщательных психоаналитических наблюдений обратило на себя внимание то обстоятельство, что очень часто либидо отводится от объекта и направляется на Я (интроверсия); а, изучая развитие либидо у ребенка на самых ранних стадиях, психоаналитики пришли к выводу, что Я представляет собой истинный и изначальный резервуар либидо[1], которое из него затем распространяется на объект. Я было причислено к сексуальным объектам и сразу же было признано самым важным из них. Таким образом, если либидо пребывало в Я, то оно называлось нарциссическим. Разумеется, это нарциссическое либидо было также выражением силы сексуальных влечений в аналитическом смысле, которые пришлось идентифицировать с признаваемыми с самого начала «влечениями к самосохранению». В результате первоначальное противопоставление влечений Я и сексуальных влечений оказалось недостаточным. Часть влечений Я была признана либидинозной; в Я — вероятно, наряду с другими — действовали и сексуальные влечения, и все же мы вправе сказать, что старая формулировка, согласно которой психоневроз основывается на конфликте между влечениями Я и сексуальными влечениями, не содержит ничего, что можно было бы сегодня отвергнуть. Различие двух видов влечений, которое первоначально так или иначе рассматривалось как качественное, теперь следует трактовать иначе, а именно с топической точки зрения. В частности, невроз переноса — главный объект исследования в психоанализе — остается следствием конфликта между Я и либидинозным объектным катексисом.

Либидинозный характер влечений к самосохранению тем более следует подчеркнуть теперь, когда мы отваживаемся

[1] Эта гипотеза подробно обсуждается в работе Фрейда о нарцизме (1914). См. также более позднее примечание Фрейда в главе III работы «Я и Оно» (1923), где это утверждение корректируется и вместо Я в качестве «огромного резервуара либидо» выступает Оно.

сделать следующий шаг — признать сексуальные влечения сохраняющим все в этом мире эросом, а нарциссическое либидо Я вывести из количеств либидо, которыми связаны между собой клетки сомы. Но теперь перед нами неожиданно возникает такой вопрос: если влечения к самосохранению тоже имеют либидинозную природу, то тогда, может быть, нет вообще никаких других влечений, кроме либидинозных? Во всяком случае, других не видно. Но тогда нужно признать правоту критиков, которые с самого начала подозревали, что психоанализ объясняет *все* исходя из сексуальности, или таких новаторов, как Юнг, которые не долго думая стали употреблять термин «либидо» для обозначения «движущей силы» вообще. Разве не так?

Однако к такому результату мы не стремились. Ведь, мы, скорее, исходили из строгого разделения на влечения Я = влечения к смерти и сексуальные влечения = влечения к жизни. Более того, мы были готовы причислить относящиеся к Я так называемые влечения к самосохранению к влечениям к смерти, но затем, внося исправления, от этого отказались. Наше понимание с самого начала было *дуалистическим*, и сегодня, после того как мы стали обозначать эти противоположности не как влечения Я и сексуальные влечения, а влечения к жизни и влечения к смерти, оно стало еще более строгим, чем прежде. И наоборот, теория либидо Юнга — *монистическая*; то, что свою единственную движущую силу он назвал либидо, могло повергнуть нас в замешательство, но в дальнейшем влиять на нас не должно[1]. Мы предполагаем, что в Я, кроме либидинозных[2] влечений к самосохранению, действуют и другие влечения; мы должны суметь их показать. К сожалению, анализ Я так мало продвинулся вперед, что привести это доказательство для нас действительно будет сложно. Однако либидинозные влечения Я могут быть особым образом связаны с другими влечениями Я, пока еще нам незнакомыми[3]. Еще до того, как мы ясно распознали нарцизм, в психоанализе уже существовало предположение, что «влечения Я» привлекли к себе либидинозные компоненты. Но это пока

[1] Это и предыдущее предложения были добавлены в 1921 году.

[2] Слово «либидинозных» было добавлено в 1921 году.

[3] Только в первом издании часть предложения после запятой выглядит так: «...связаны, по выражению А. Адлера, “скрещены” с другими влечениями Я, пока еще нам незнакомыми».

еще весьма неясные возможности, с которыми оппоненты едва ли будут считаться. Досадно, что до сих пор анализ сумел доказать лишь наличие либидинозных влечений [Я]. Но мы не хотели бы подвести этим рассуждением к выводу, что других влечений не существует.

При нынешней неясности теории влечений мы вряд ли поступим правильно, если отвергнем какую-либо идею, сулящую нам объяснение. Мы исходили из принципиальной противоположности между влечениями к жизни и смерти. Сама объектная любовь демонстрирует нам вторую такую полярность — полярность любви (нежности) и ненависти (агрессии). Если бы нам удалось связать две эти полярности между собой, свести одну полярность к другой! Мы уже давно выявили садистский компонент сексуального влечения[1]; он, как мы знаем, может стать самостоятельным и в виде перверсии определять все сексуальное стремление человека. Он проявляется также в качестве доминирующего парциального влечения в одной из — как я их назвал — «догенитальных организаций». Но как можно вывести садистское влечение, нацеленное на причинение вреда объекту, из сохраняющего жизнь эроса? Не напрашивается ли предположение, что этот садизм, в сущности, и является влечением к смерти, которое под влиянием нарциссического либидо было оттеснено от Я и поэтому проявляется лишь как направленное на объект? В таком случае оно начинает служить сексуальной функции; на оральной стадии организации либидо обладание объектом любви еще совпадает с уничтожением объекта, позднее садистское влечение отделяется и, наконец, на ступени примата гениталий в целях продолжения рода берет на себя функцию насильственного овладения сексуальным объектом, если этого требует совершение полового акта. Более того, можно было бы сказать, что вытесненный из Я садизм показал путь либидинозным компонентам сексуального влечения; позднее они устремляются к объекту. Там, где первоначальный садизм не подвергается ограничению и слиянию, возникает известная в любовной жизни амбивалентность любви и ненависти[2].

[1] «Три очерка по теории сексуальности», начиная с 1-го издания 1905 года.

[2] Уже здесь намечается идея Фрейда о «смешении влечений», обсуждаемая в главе 4 работы «Я и Оно» (1923).

Если позволительно сделать такое предположение, то этим было бы выполнено требование привести пример — хотя и смещенного — влечения к смерти. Правда, это понимание лишено всякой наглядности и производит прямо-таки мистическое впечатление. Нас можно заподозрить в том, что мы любой ценой искали выход из затруднительного положения. В таком случае мы можем сослаться на то, что такое предположение не ново, что мы уже делали его раньше, когда о каком-либо затруднении еще не было и речи. В свое время клинические наблюдения заставили нас сделать вывод, что комплементарное садизму парциальное влечение мазохизма следует понимать как обращение садизма на собственное Я[1]. Однако обращение влечения с объекта на Я — это принципиально не что иное, как обращение от Я на объект, которое здесь обсуждается как новое. Тогда мазохизм, обращение влечения против собственного Я, на самом деле был бы тогда возвращением к более ранней фазе, регрессией. В одном пункте данное ранее определение мазохизма нуждается в исправлении как слишком узкое; мазохизм может быть — что я раньше оспаривал — и первичным[2].

Однако вернемся к сексуальным влечениям, служащим сохранению жизни. Еще из исследования простейших мы узнали, что слияние двух индивидов без последующего деления, копуляция, после которой они вскоре отделяются друг от друга, оказывает укрепляющее и омолаживающее воздействие на обоих. В последующих поколениях у них нет дегенеративных проявлений, и они кажутся способными сопротивляться дальше вредоносным воздействиям собственного обмена веществ. Я думаю, что это наблюдение можно взять за

---

[1] Ср. «Три очерка по теории сексуальности» и «Влечения и их судьбы» (1915).

[2] В одной весьма содержательной и глубокой работе, которая, к сожалению, не вполне для меня ясна, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих умозрительных рассуждений. Она называет садистские компоненты сексуального влечения «деструктивными» (1912). А. Штерке (1914) попытался другим способом отождествить понятие *либидо* с биологическим понятием *импульса к смерти,* выведенным теоретически. (Ср. также: *Rank*, 1907.) Все эти усилия, как и попытки в тексте, свидетельствуют о стремлении к ясности, пока еще не достигнутой в теории влечений. Собственное описание деструктивного влечения, сделанное Фрейдом позднее, составляет содержание главы 6 работы «Неудовлетворенность культурой» (1930).

образец также и для эффекта полового совокупления. Но каким образом слияние двух мало чем отличающихся друг от друга клеток приводит к такому обновлению жизни? Пожалуй, опыт, в котором копуляция у простейших организмов заменяется воздействием химических и даже механических раздражителей[1], позволяет уверенно утверждать: это происходит благодаря притоку новых количеств раздражения. Это вполне согласуется с предположением, что жизненный процесс индивида в силу внутренних причин ведет к выравниванию химических напряжений, то есть к смерти, тогда как объединение с индивидуально отличающейся живой субстанцией эти напряжения увеличивает, вводит, так сказать, новые *жизненные различия*, которые затем должны быть *изжиты*. Для такого различия должны, разумеется, существовать один или несколько оптимумов. То, что мы выявили в качестве доминирующей тенденции душевной жизни, возможно, всей нервной деятельности, стремление к уменьшению, сохранению постоянного уровня, устранению внутреннего напряжения, вызываемого раздражителями (*принцип нирваны*, по выражению Барбары Лоу, то есть тенденции, которая выражается в принципе удовольствия[2], — и составляет один из наших сильнейших мотивов, заставляющих нас поверить в существование влечений к смерти.

Однако мы все еще ощущаем, что нашему ходу мыслей сильно мешает то, что именно для сексуального влечения мы не можем доказать той характерной особенности навязчивого повторения, которая в самом начале подтолкнула нас к поиску влечений к смерти. Хотя область процессов эмбрионального развития чрезвычайно богата такими проявлениями повторения; обе зародышевые клетки, служащие для полового размножения, и история их жизни сами являются лишь повторениями начала органической жизни; но главное в процессах, вызванных сексуальным влечением, — это все же слияние двух клеточных тел. Только благодаря ему у высших живых существ обеспечивается бессмертие живой субстанции.

Иными словами, мы должны объяснить возникновение полового размножения и происхождение сексуальных влече-

[1] *Lipschütz*, 1914.

[2] Эта тема обсуждается далее в работе «Экономическая проблема мазохизма» (1924).

ний в целом — задача, которой посторонний человек, наверное, испугается и которую до сих пор еще не удалось решить даже специалистам в этой области. Поэтому из всех противоречащих друг другу сведений и мнений в самом сжатом виде выделим то, что согласуется с нашим ходом мыслей.

Одна из этих точек зрения лишает проблему размножения ее таинственной прелести, изображая размножение как частное проявление роста (размножение посредством деления, пускания ростков, почкования). В соответствии с трезвым дарвиновским подходом возникновение размножения при помощи дифференцированных в половом отношении зародышевых клеток можно было бы представить так, что преимущество амфимиксиса, когда-то проявившееся при случайной копуляции двух простейших, закрепилось в последующем развитии и стало использоваться в дальнейшем[1]. Таким образом, «пол» возник не очень давно, и чрезвычайно сильные влечения, которые приводят к совокуплению, повторяют при этом то, что когда-то произошло случайно и с тех пор закрепилось как полезное свойство.

Здесь, как и в проблеме смерти, возникает вопрос, не следует ли признать за простейшими только то, что они показывают, и можно ли допустить, что те процессы и силы, которые становятся очевидными только у высших живых существ, также сначала возникли у них. Упомянутое понимание сексуальности мало чем способно помочь нашим намерениям. На него можно возразить, что оно предполагает существование влечений к жизни, действующих уже в простейших живых существах, ибо в противном случае копуляция, противоборствующая естественному течению жизни и затрудняющая задачу отмирания, не закрепилась бы и не усовершенствовалась, а избегалась. Следовательно, если мы не хотим отказаться от гипотезы о влечениях к смерти, то к ним с самого начала нужно присоединить влечения к жизни. Но надо признать, что мы здесь имеем дело с уравнением с двумя неизвестными. Все, что мы обычно находим в науке о происхождении сексуаль-

[1] Хотя Вейсман (1892) отрицает это преимущество: «Оплодотворение отнюдь не означает омоложения или обновления жизни, в нем вообще нет необходимости для продолжения жизни, оно представляет собой не что иное, как *приспособление, делающее возможным смешение двух разных наследственных тенденций*». Вместе с тем результатом такого смешения он считает увеличение разнообразия живых существ.

ности, столь незначительно, что эту проблему можно сравнить с темнотой, в которую не проник даже луч гипотезы. Правда, в совсем другой области мы встречаем такую гипотезу;однако она настолько фантастична — разумеется, это скорее миф, нежели научное объяснение, — что я не отважился бы здесь ее привести, не отвечай она именно тому условию, к выполнению которого мы стремимся. В ней влечение выводится как раз *из потребности в восстановлении прежнего состояния*.

Разумеется, я имею в виду теорию, которую Платон развивает в «Пире» устами Аристофана и которая объясняет не только происхождение полового влечения, но и его важнейшие вариации в отношении объекта.

«Когда-то наше тело было не таким, как теперь, а совсем другим. Прежде всего люди были трех полов, а не двух, как ныне, — мужского и женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки обоих». Все у этих людей было двойным; то есть у них было четыре руки и четыре ноги, два лица, срамных частей тоже было две и т. д. А затем Зевс решил разделить каждого человека на две половины, «как разрезают айву перед варкой варенья... И вот когда целое существо было таким образом рассечено пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались в *страстном желании срастись*...»[1]

[1] *Дополнение, сделанное в 1921 году:* «Я благодарен проф. Генриху Гомперцу (Вена) за следующие указания на происхождение этого мифа Платона, которые я частично воспроизведу его словами: "Я хотел бы обратить внимание на то, что, в сущности, эта же теория уже содержится в "Упанишадах". В "Брихад-Араньяка упанишаде", I, 4, 3 (*Deussen*, "60 Upanischads des Weda", S. 593), где описывается происхождение мира из Атмана (Самости, или Я) говорится: "...Но и у него (Атмана, Самости, или Я) тоже не было радости, поэтому нет у человека радости, когда он один. Тогда он возжелал о втором. Он был таким же большим, как мужчина и женщина, когда они обнялись. Это свою Самость он разделил на две части: из них получились супруг и супруга. Потому тело в Самости подобно половине, так именно объяснил это Яджнявалкья. Потому это пустое пространство здесь заполняется женщиной"».

«Брихад-Араньяка упанишада» — самая древняя из всех упанишад, и ни один из компетентных исследователей не датирует ее позднее 800 года до Р. Х. На вопрос, возможна ли хотя бы косвенная зависимость Платона от этих представлений индусов, в противоположность господствующему мнению я не стал бы отвечать категорическим отрицанием, поскольку

Должны ли мы, следуя указанию поэта-философа, отважиться сделать предположение, что, живая субстанция оказалась при оживлении раздробленной на мелкие части, которые с тех пор посредством сексуальных влечений стремятся к воссоединению? Что эти влечения, в которых находит свое продолжение химическое сродство неживой материи, постепенно через царство простейших преодолевают трудности, которые создает этому стремлению внешний мир, полный опасных для жизни раздражителей, вынуждая к образованию защитного коркового слоя? Что эти раздробленные частицы живой субстанции в результате становятся многоклеточными и в конечном счете передают зародышевым клеткам влечение к воссоединению, достигшее самой высокой концентрации? Я думаю, что здесь самое время прерваться.

Но только сначала надо добавить несколько слов критического рассуждения. Меня могли бы спросить, убежден ли я сам, и если да, то насколько, в истинности развиваемых здесь предположений. Я ответил бы, что и сам не убежден и не склоняю к вере других. Точнее: я не знаю, насколько верю в них. Мне кажется, что аффективный момент убеждения вообще не должен здесь приниматься в расчет. Ведь можно предаваться некоему ходу мыслей, прослеживать его до конца исключительно из научной любознательности, или, если угодно, в роли *advocatus diaboli*[1], который сам черту все же не продается. Я не отрицаю, что третий шаг, предпринимаемый здесь мной в теории влечений, не может претендовать на такую же достоверность, как первые два, то есть расширение понятия сексуальности и введение понятия нарцизма. Эти новшества представляли собой непосредственный перевод наблюдений в теорию, и они содержат в себе не больше источников ошибок,

---

такую возможность нельзя, пожалуй, отвергать и в отношении учения о переселении душ. Такая зависимость, которую описали прежде всего пифагорейцы, едва ли поставила бы под сомнение значимость совпадения идей, поскольку Платон не стал бы заимствовать такое восточное предание, которое передавалось из поколения в поколение, не говоря уже о том, что он не стал бы придавать ему такого значения, если бы оно ему самому не казалось правдоподобным.

В статье К. Циглера «Становление человека и мира» (1913), в которой планомерно исследуется развитие данной идеи *до* Платона, она сводится к вавилонским представлениям.

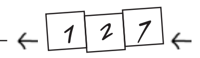
Фрейд ссылался на миф Платона еще в своих «Трех очерках» (1905).

[1] Адвоката дьявола (*лат.*). — *Примечание переводчика.*

чем это неизбежно бывает в подобных случаях. Вместе с тем утверждение о *регрессивном* характере влечений также основывается на материале наблюдений, а именно на фактах навязчивого повторения. Правда, я, может быть, переоценил их значение. Но в любом случае разработка этой идеи невозможна иначе как путем многократного комбинирования фактического материала с чисто умозрительным, при удалении от наблюдения. Как известно, конечный результат тем менее надежен, чем чаще при построении теории это проделывается, но о степени недостоверности сказать ничего нельзя. При этом можно удачно угадать или впасть в постыдное заблуждение. Так называемой интуиции я мало доверяю в такой работе; то, что мне доводилось на этот счет наблюдать, казалось мне скорее результатом известной беспристрастности интеллекта. Но, к сожалению, мы редко бываем беспристрастными, когда дело касается важных вещей, великих проблем науки и жизни. Я думаю, что каждым здесь движут внутренние глубоко обоснованные пристрастия, которым он своими умозрительными рассуждениями невольно потакает. При столь веских основаниях для недоверия, пожалуй, не остается ничего другого, кроме сдержанной благосклонности к результатам собственной работы мысли. Поспешу лишь добавить, что подобная самокритика отнюдь не обязывает к особой терпимости по отношению к противоположным взглядам. Можно быть непреклонным и отвергать теории, которым противоречат уже первые шаги и наблюдения в процессе анализа, и все же при этом знать, что правильность отстаиваемых теорий — только предварительная. В оценке наших умозрительных рассуждений о влечениях к жизни и к смерти нас мало смущает то обстоятельство, что мы встречаем здесь так много странных и незримых процессов — например, что одно влечение оттесняется другим, или что оно обращается от Я к объекту и т. п. Это происходит только из-за того, что мы вынуждены оперировать научными терминами, то есть собственным образным языком психологии (точнее, глубинной психологии). В противном случае мы вообще не смогли бы описать соответствующие процессы, более того, не могли бы даже их воспринять. Вероятно, недостатки нашего описания исчезли бы, если бы вместо психологических терминов мы могли использовать физиологические или химические. Хотя и они тоже относятся к образному языку, но к давно нам знакомому и, возможно, более простому.

С другой стороны, мы должны хорошо понимать, что ненадежность наших умозрительных рассуждений существенно возросла из-за необходимости обращаться к биологической науке. Биология — это поистине царство неограниченных возможностей, мы можем ждать от нее самых поразительных разъяснений, и невозможно предугадать, какие ответы она через несколько десятков лет даст на поставленные вопросы. Возможно, как раз такие, что все наше искусственное построение из гипотез рухнет. Если это так, то нас могут спросить, зачем приниматься за работу, подобную представленной в этом разделе, и зачем о ней сообщать. Что ж, не могу отрицать, что некоторые аналогии, сопоставления и взаимосвязи показались мне заслуживающими внимания[1].

[1] В заключение несколько слов для пояснения нашей терминологии, которая в ходе данного изложения претерпела определенное изменение. Что такое «сексуальные влечения», нам было известно из их отношения к полу и функции размножения. Мы сохранили это название и тогда, когда данные психоанализа заставили нас отказаться жестко связывать их с размножением. С введением понятия нарциссического либидо и распространением понятия «либидо» на отдельную клетку сексуальное влечение превратилось у нас в эрос, стремящийся соединять и удерживать вместе части живой субстанции, а сами сексуальные влечения предстали как часть эроса, обращенная на объект. Из логики наших умозрительных рассуждений следует, что этот эрос действует с самого начала жизни и выступает как «влечение к жизни» в противоположность «влечению к смерти», возникшему с оживлением неорганической материи. Мы пытаемся разрешить загадку жизни, выдвигая гипотезу о существовании этих двух влечений, испокон веков борющихся друг с другом. *Дополнение, сделанное в 1921 году:* Менее очевидно, пожалуй, превращение, которое претерпело понятие «влечения Я». Сначала мы называли так все не очень хорошо известные нам направления влечений, которые можно отделить от сексуальных влечений, направленных на объект, и противопоставили влечения Я сексуальным влечениям, выражением которых является либидо. Впоследствии мы подошли к анализу Я и обнаружили, что часть влечений Я также имеет либидинозную природу и что в качестве объекта они избрали собственное Я. Таким образом, эти нарциссические влечения к самосохранению теперь следовало причислить к либидинозным сексуальным влечениям. Противопоставление влечений Я и сексуальных влечений трансформировалось в противопоставление влечений Я и влечений к объекту, причем и те и другие носят либидинозный характер. Но затем вместо него появилось новое противопоставление — либидинозных влечений (направленных на Я и на объект) и других влечений, которые относятся к Я и которые, наверное, можно выявить в деструктивных влечениях. В результате умозрительных рассуждений эта противоположность преобразуется в другую — противоположность влечений к жизни (эрос) и влечений к смерти.



7

Если такое общее свойство влечений действительно заключается в том, что они стремятся восстановить прежнее состояние, то не приходится удивляться, что в психической жизни так много процессов осуществляется независимо от принципа удовольствия. Это свойство передается каждому парциальному влечению и в каждом случае связано со стремлением вернуться к определенной точке на пути развития. Но все, над чем принцип удовольствия еще не властен, не обязательно должно из-за этого находиться в противоречии с ним, и задача, состоящая в том, чтобы определить отношение инстинктивных процессов навязчивого повторения к господству принципа удовольствия, пока не разрешена.

Мы установили, что одна из самых ранних и самых важных функций душевного аппарата заключается в том, чтобы «связывать» поступающие к нему импульсы влечения, заменять господствующий в них первичный процесс вторичным, превращать их свободно подвижную катектическую энергию в преимущественно бездействующую (тоническую). Во время этого преобразования о развитии неудовольствия говорить нельзя, однако принцип удовольствия этим не упраздняется. Преобразование служит скорее принципу удовольствия; связывание — это подготовительный акт, благодаря которому устанавливается и обеспечивается господство принципа удовольствия.

Разграничим функцию и тенденцию более строго, чем мы это делали до сих пор. В этом случае принцип удовольствия будет тенденцией, служащей функции, которой надлежит сделать так, чтобы душевный аппарат вообще был лишен возбуждения, или поддерживать количество возбуждения в нем постоянным и на как можно более низком уровне. Пока еще мы не можем с уверенностью выбрать ни одну из этих формулировок, однако заметим, что определенная таким образом функция стала бы частью всеобщего стремления всего живого вернуться к покою неорганического мира. Все мы знаем, что величайшее из доступных нам удовольствий — удовольствие от полового акта — связано с моментальным угасанием сильнейшего возбуждения. Связывание же импульса влечения было бы подготовительной функцией, которая должна подводить возбуждение к окончательной разрядке в удовольствии, получаемой при отводе.

В этом же контексте возникает вопрос, могут ли ощущения удовольствия и неудовольствия равным образом создаваться как связанными, так и несвязанными процессами возбуждения. Не подлежит сомнению, что такие несвязанные, первичные процессы дают гораздо более интенсивные ощущения в обоих направлениях, чем связанные, ощущения вторичного процесса. Первичные процессы также более ранние по времени; в начале психической жизни других процессов и не бывает, и мы можем сделать вывод, что, если бы принцип удовольствия не действовал уже в них, то он вообще не мог бы возникнуть в процессах более поздних. Таким образом, мы приходим к непростому, по сути, выводу, что в начале психической жизни стремление к удовольствию выражается гораздо сильнее, чем впоследствии, но не столь безудержно; очень часто бывают прорывы, с которыми ему приходится мириться. В более зрелый период господство принципа удовольствия обеспечено гораздо надежнее, но обуздать его столь же мало возможно, как и другие влечения в целом. Во всяком случае то, что вызывает ощущения удовольствия и неудовольствия в процессе возбуждения, во вторичном процессе, должно быть, присутствует точно так же, как и в первичном процессе.

Здесь было бы уместно продолжить исследования. Наше сознание сообщает нам изнутри не только об ощущениях удовольствия и неудовольствия, но и о своеобразном напряжении, которое само по себе опять-таки может быть приятным или неприятным. Какие это энергетические процессы — связанные или несвязанные, — которые мы должны разграничивать на основе своих ощущений, или же ощущение напряжения связано с абсолютной величиной, возможно, уровнем катексиса, тогда как ряд удовольствие–неудовольствие указывает на изменение величины катексиса в единицу времени?[1] Нам также бросается в глаза тот факт, что влечения к жизни гораздо больше связаны с нашим внутренним восприятием, нарушая покой, непрерывно принося с собой напряжение, избавление от которого ощущается как удовольствие, тогда как влечения к смерти, скорее всего, выполняют свою работу незаметно. Похоже на то, что принцип удовольствия прямо-

[1] Эти вопросы Фрейд затрагивал еще в «Проекте» 1895 года (1950), например, в части I, VIII разделе («Бессознательное»), и в начале части III.

таки находится в услужении у влечения к смерти; но вместе с тем он оберегает от внешних раздражителей, которые обоими видами влечений расцениваются как опасности, особенно же от усиления возбуждения, исходящего изнутри и мешающего справляться с задачами жизни. К этому добавляются бесчисленные другие вопросы, ответить на которые сейчас невозможно. Надо набраться терпения и дождаться новых средств и поводов для исследования. Надо быть также готовым оставить тот путь, по которому какое-то время шел, если, похоже, он не ведет ни к чему хорошему. Только такие верующие, которые требуют от науки замены упраздненного катехизиса, поставят в вину исследователю развитие или даже изменение его взглядов. Впрочем, по поводу медленного продвижения нашего научного знания, пусть нас утешит поэт (Рюккерт в «Макамы Харири»[1]):

«То, к чему не долететь, надо достичь хромая.
Как говорится в Писании, хромота не грех».

[1] Заключительные строки из стихотворения «Два гульдена» в переводе на немецкий Рюккерта «Превращений Абу Сеида из Серуга или Макамы Харири» (1826 и 1837, два тома) Макамы аль Харири.

Я И ОНО (1923)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нижеследующие рассуждения продолжают ход мыслей, начатый в моем сочинении «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), к которым я сам, как там упоминается, относился с известным благожелательным любопытством. Они продолжают эти идеи, связывают их с различными фактами аналитического наблюдения, пытаются сделать из такого объединения новые выводы, но не заимствуют новые данные из биологии и поэтому находятся ближе к психоанализу, чем мой труд «По ту сторону...». Они носят скорее характер синтеза, нежели умозрительного заключения, и, по всей видимости, ставят перед собой высокую цель. Но я знаю, что они останавливаются на самом общем, и с этим ограничением вполне согласен.

При этом они затрагивают вещи, которые до сих пор предметом психоаналитической проработки еще не были, и поэтому не могут не затронуть некоторые теории, выдвигавшиеся непсихоаналитиками или психоаналитиками до их отхода от психоанализа. Обычно я всегда был готов признать свои обязательства перед другими работниками, но в данном случае я не чувствую себя обремененным необходимостью такой признательности. Если до сих пор психоанализ не воздал должного некоторым вещам, то это случалось не потому, что он не замечал их заслуг или отрицал их значение, а потому, что он следует определенным путем, который еще не привел так далеко. И наконец, когда он к ним подошел, он воспринимает эти вещи иначе, чем остальные.

1. СОЗНАНИЕ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

В этом вступительном разделе не будет сказано ничего нового, и нельзя избежать повторения того, о чем говорилось раньше.

Разделение психического на сознательное и бессознательное — это основная предпосылка психоанализа, и только благодаря ей он имеет возможность понять и подвергнуть научному исследованию патологические процессы душевной жизни, столь же повсеместные, сколь и важные. Иначе говоря, психоанализ не может помещать сущность психического в сознание, а должен рассматривать сознание как качество психического, которое может добавляться или не добавляться к другим качествам.

Если бы я мог представить себе, что все, кто интересуется психологией, прочтут написанное, то был бы готов и к тому, что уже на этом месте часть читателей остановится и не последует далее, ибо здесь первый шибболет[1] психоанализа. Большинству философски образованных людей идея психического, которое не является сознательным, столь недоступна, что кажется им абсурдной и опровергаемой простой логикой. Я думаю, это происходит только из-за того, что они никогда не изучали относящихся к этому феноменов гипноза и сновидения, которые — не говоря уже о патологических явлениях — вынуждают к такому пониманию. Однако их психология сознания также не способна решить проблемы сновидения и гипноза.

Быть сознательным — это прежде всего чисто описательный термин, который апеллирует к самому непосредственному и надежному восприятию. Далее, опыт показывает нам, что психический элемент, например представление, обычно не бывает сознательным в течение долгого времени. Характерно, скорее, то, что состояние сознания быстро проходит; представление, в данный момент сознательное, в следующее мгновение таковым уже не будет, но при известных, легко создаваемых условиях опять может стать сознательным. Каким оно было в промежутке, мы не знаем; мы можем сказать, что оно было *латентным*, имея в виду при этом, что оно все время было *способно к осознанию*. Если мы скажем, что оно было *бессознательным*, то тоже дадим верное описание. В таком случае это бессознательное совпадает с латентным и способным к осознанию. Впрочем, философы возразили бы нам: «Нет, термин “бессознательное” здесь неприменим; пока пред-

---

[1] Шибболет (евр. «колос», Кн. Судей, XII, 6) — в переносном смысле означает «особенность», «отличие». — *Примечание переводчика.*

ставление пребывало в состоянии латентности, оно вообще не было чем-то психическим». Но если бы мы стали уже здесь возражать им, то затеяли бы словесную перепалку, которая бы никакой пользы не принесла.

Однако к термину или понятию бессознательного мы пришли другим путем — через переработку опытных данных, в которых определенную роль играет душевная *динамика*. Мы узнали, то есть вынуждены были признать, что существуют интенсивные душевные процессы или представления — здесь прежде всего в расчет принимается количественный, то есть экономический, момент, — которые могут иметь такие же последствия для душевной жизни, как и другие представления, а также и такие последствия, которые опять-таки могут осознаваться как представления, но сами по себе они не осознаются. Нет необходимости повторять здесь подробно то, о чем уже и так часто говорилось[1]. Достаточно будет сказать: здесь начинается психоаналитическая теория, которая утверждает, что такие представления не могут быть сознательными потому, что этому противодействует определенная сила, что в противном случае они могли бы стать осознанными и что тогда мы бы увидели, как мало они отличаются от прочих общепризнанных психических элементов. Эта теория становится неопровержимой благодаря тому, что в психоаналитической технике нашлись средства, с помощью которых можно устранить противодействующую силу и сделать данные представления осознанными. Состояние, в котором они находились до осознания, мы называем *вытеснением*, а сила, вызвавшая и поддерживавшая вытеснение, во время аналитической работы ощущается нами как *сопротивление*.

Таким образом, понятие бессознательного мы получаем из учения о вытеснении. Вытесненное представляет для нас образец бессознательного. Но мы видим, что есть два вида бессознательного — латентное, но все же способное к осознанию, и вытесненное, которое сразу и само по себе сознательным стать не может. Наше понимание психической динамики не может не оказать влияния на терминологию и описание. Латентное содержание, бессознательное только в описательном, но не в динамическом смысле, мы называем

[1] См, например, «Некоторые замечания о понятии бессознательного в психоанализе» (1912).

предсознательным; название *«бессознательное»* мы ограничиваем динамически вытесненным бессознательным; таким образом, у нас теперь есть три термина: «сознательный» *(Сз)*, «предсознательный» *(Псз)* и «бессознательный» *(Бсз)*, смысл которых уже не является чисто описательным. Мы предполагаем, что *Псз* находится гораздо ближе к *Сз*, чем *Бсз*, а раз *Бсз* мы назвали психическим, то с еще меньшими сомнениями поступим так и в случае латентного *Псз*. Но не лучше ли нам оставаться в согласии с философами и не отделить ли *Псз*, как *Бсз*, последовательным образом от сознательного психического? Тогда философы предложили бы нам описать *Псз* и *Бсз* как два вида или две ступени психоидного, и согласие было бы установлено. Однако следствием этого были бы бесконечные затруднения при описании, а единственно важный факт, что эти психоиды почти во всех прочих пунктах совпадают с общепризнанным психическим, был бы оттеснен на задний план из-за предубеждения, возникшего в те времена, когда просто об этих психоидах или самого важного о них еще не знали.

Теперь мы можем удобно обращаться с тремя нашими терминами: *Сз*, *Псз* и *Бсз*, но только не будем забывать, что в описательном значении существуют два вида бессознательного, а в динамическом — только один[1]. В некоторых случаях при описании этим различием можно пренебречь, но для других целей оно, разумеется, необходимо. Мы все же в целом привыкли к этой двойственности бессознательного и хорошо уживались с ней. Но избежать ее, насколько я вижу, нельзя; разделение на сознательное и бессознательное — это, в конце концов, вопрос восприятия, на который можно ответить «да» и «нет»; сам же акт восприятия не дает нам никаких сведений о том, по какой причине что-то воспринимается или не воспринимается. Нельзя жаловаться на то, что динамическое в своем проявлении находит только двусмысленное выражение[2].

Здесь заслуживает внимания недавняя перемена в критике бессознательного. Иные исследователи, признающие

---

[1] Некоторые комментарии к этому тезису содержатся в приложении I к данной работе.

[2] Ср. «Замечания о понятии бессознательного» (1912). Ср. также разделы I и II метапсихологической статьи «Бессознательное» (1915).

данные психоанализа, но не желающие признавать бессознательное, получают сведения, опираясь на тот неоспоримый факт, что и в сознании — как феномене — можно распознать целый ряд градаций интенсивности или отчетливости. Подобно тому, как есть сознательные процессы, которые очень ярки, резки, отчетливы, точно так же мы сталкиваемся и с другими, слабыми, едва заметными; а слабее всего сознаются именно те процессы, которые психоанализ хочет назвать неподходящим, по мнению критиков, словом «бессознательные». Но они все-таки тоже являются осознанными или находятся «в сознании», и их в полной мере можно сделать осознанными, если уделить им достаточно внимания.

Поскольку на решение в этом вопросе, зависящем либо от традиции, либо от эмоциональных моментов, можно повлиять аргументами, по этому поводу можно отметить следующее: указание на шкалу отчетливости сознания ни к чему не обязывает и имеет не большую доказательную силу, чем, например, аналогичные тезисы: «Существует множество градаций освещения — от самого резкого, слепящего света до приглушенного, слабого проблеска, следовательно, темноты вообще не бывает». Или: «Существуют разные степени жизненной силы, следовательно, смерти не бывает». Эти положения до некоторой степени могут быть не лишены смысла, но в практическом отношении они неприемлемы, как это тотчас становится очевидным, если захочется вывести из них определенные заключения, например: «Следовательно, свет зажигать не надо», или: «Следовательно, все организмы бессмертны». Далее, отнесением незаметного к категории сознательного достигается только то, что психическое вообще лишается своей единственной непосредственной достоверности. Сознание, о котором ничего не известно, кажется мне гораздо более абсурдным, чем бессознательное душевное. И наконец, такое приравнивание незаметного к бессознательному осуществлялось, очевидно, без учета динамических отношений, которые были определяющими для психоаналитического понимания. Ибо при этом остались неучтенными два факта; во-первых, то, что очень трудно уделить достаточно внимания такому незаметному — для этого требуются большие усилия; во-вторых, если это и удалось, то все, что прежде было незаметным, не узнается теперь сознанием, а довольно часто кажется ему совершенно чужим, противоположным

и наотрез отвергается им. Таким образом, сведение бессознательного к малозаметному и незаметному — лишь производная предубеждения, для которого идентичность психического с сознательным раз и навсегда установлена.

Однако в ходе дальнейшей психоаналитической работы выясняется, что и эти различия недостаточны, неудовлетворительны в практическом отношении. Из наиболее важных ситуаций, которые свидетельствуют об этом, стоит выделить следующую как решающую. Мы сформировали у себя представление о связной организации душевных процессов в личности и называем эту организацию Я личности. Это Я связано с сознанием, оно владеет подступами к системе подвижности, то есть к отводу возбуждений во внешний мир; это та душевная инстанция, которая контролирует все частные процессы, которая ночью отходит ко сну и все же руководит цензурой сновидений. От этого Я исходят также вытеснения, благодаря которым известные душевные стремления должны исключаться не только из сознания, но также из других областей влияния и действий. То, что было устранено вследствие вытеснения, противопоставляется в анализе Я, и перед анализом стоит задача устранить сопротивление, оказываемое Я изучению вытесненного. Во время анализа мы наблюдаем, что больной испытывает затруднения, когда мы ставим перед ним определенные задачи; его ассоциации отказывают, когда они должны приблизиться к вытесненному. В таком случае мы говорим ему, что он находится во власти сопротивления, но он ничего об этом не знает, и даже когда по своему чувству неудовольствия он должен был догадаться, что теперь в нем действует сопротивление, он не может назвать его или указать на него. Но так как сопротивление, несомненно, исходит из его Я и относится к нему, мы оказываемся в непредвиденной ситуации. В самом Я мы обнаружили нечто такое, что тоже является бессознательным, ведет себя прямо как вытесненное, то есть оказывает сильное воздействие, само при этом не осознаваясь, а для его осознания требуется особая работа. Следствием этого опыта для психоаналитической практики является то, что мы попадем в бесконечное множество неясностей и затруднений, если будем придерживаться привычных способов выражения и захотим, к примеру, свести невроз к конфликту между сознательным и бессознательным.

Исходя из наших представлений о структурных соотношениях душевной жизни, вместо этого противопоставления мы должны ввести другое: противопоставление между связным Я и отколовшимся от него вытесненным[1].

Однако следствия для нашего понимания бессознательного еще более значительны. Динамическое рассмотрение привело нас к первой корректировке, структурное понимание дает нам вторую. Мы видим, что *Бсз* не совпадает с вытесненным; остается верным, что все вытесненное является *Бсз*, но не все *Бсз* есть вытесненное. Также и часть Я — Бог весть, какая важная часть Я, — должна быть и, несомненно, является *Бсз*[2]. И это *Бсз* в Я не латентно в смысле *Псз,* иначе его нельзя было бы активизировать, не сделав *Сз,* а его осознание не доставляло бы таких больших трудностей. Таким образом, если мы видим необходимость постулировать наличие третьего, не вытесненного *Бсз*, мы должны признать, что характер бессознательности теряет для нас значение. Он становится многозначным качеством, не допускающим далеко идущих и непререкаемых выводов, для которых нам хотелось бы его использовать. Тем не менее мы не должны пренебрегать им, так как в конце концов такое свойство, как сознательность или бессознательность, — единственный луч света в темном царстве глубинной психологии.

2. Я И ОНО

В исследованиях патологии мы слишком односторонне сосредоточились на изучении вытесненного. Нам хотелось бы больше узнать о Я с тех пор, как мы знаем, что и Я может быть бессознательным в собственном смысле слова. Единственной точкой опоры при проведении наших исследований до сих пор был признак сознательности или бессознательности; в конце концов мы увидели, насколько он может быть многозначным.

Все наше знание всегда связано с сознанием. Также и с *Бсз* мы можем познакомиться, только делая его сознательным. Но постойте, как это возможно? Что значит: сделать нечто сознательным? Как это может произойти?

---

[1] Ср. «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

[2] Эту точку зрения Фрейд отстаивал не только в работе «По ту сторону принципа удовольствия», но и еще раньше в очерке «Бессознательное» (1915).

Мы уже знаем, на что должны для этого опереться. Мы говорили, что сознание — это *поверхность* душевного аппарата, то есть в качестве функции мы отнесли его к некой системе, которая пространственно является первой по отношению к внешнему миру. Впрочем, пространственно не только в смысле функции, но на этот раз и в смысле анатомического разделения[1]. Эту воспринимающую поверхность необходимо принять за исходный пункт также и в нашем исследовании.

Сразу оговорим, что *Сз* все восприятия, приходящие извне (чувственные восприятия) и изнутри — то, что мы называем ощущениями и чувствами. Но как обстоит дело с теми внутренними процессами, которые мы — предварительно и неточно — можем назвать мыслительными процессами? Достигают ли эти процессы, происходящие где-то внутри аппарата как смещения психической энергии на пути к действию, поверхности, где возникает сознание? Или сознание доходит до них? Мы видим, что это одна из трудностей, которые возникают, когда всерьез собираешься применить пространственное, *топическое* представление о душевном событии. Обе возможности в равной мере немыслимы, здесь должно быть что-то третье[2].

В другом месте[3] я уже высказывал предположение, что действительное различие между *Бсз* и *Псз* представлениями (мыслями) состоит в том, что в первом случае материал остается неизвестным, тогда как в случае *Псз* представления добавляется связь со *словесными представлениями*. Здесь впервые предпринята попытка указать для систем *Псз* и *Бсз* признаки, отличные от отношения к сознанию. Следовательно, вопрос: «Каким образом что-то становится сознательным?» — целесообразнее задать в форме: «Каким образом что-то становится предсознательным?» И ответом было бы: «Через связь с соответствующими словесными представлениями».

Эти словесные представления — остатки воспоминаний, когда-то они были восприятиями и, как все остатки воспоминаний, могут снова становиться осознанными. Но прежде чем мы продолжим обсуждать их природу, выскажем зародившуюся у нас новую мысль: сознательным может стать только

1 См. «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

2 Более подробное обсуждение этой мысли содержится во втором разделе работы «Бессознательное» (1915).

3 «Бессознательное» (1915).

то, что когда-то уже было *Сз* восприятием, и что, помимо чувств, стремится изнутри стать сознательным; оно должно совершить попытку перейти во внешние восприятия. Это становится возможным благодаря следам воспоминаний.

Мы полагаем, что остатки воспоминаний содержатся в системах, которые непосредственно соприкасаются с системой *В* *(= восприятие) — Сз*, а потому их катексисы легко могут изнутри распространяться на элементы этой системы[1]. Здесь сразу появляется мысль о галлюцинации, а также о том, что самое живое воспоминание всегда можно отличить и от галлюцинации, и от внешнего восприятия[2], но столь же быстро становится очевидным, что при воскрешении воспоминания в системе памяти сохраняются катексисы, тогда как не отличимая от восприятия галлюцинация, видимо, возникает тогда, когда катексис не только частично распространяется от следа воспоминания на *В*-элемент, но и полностью на него переходит.

Словесные остатки происходят в основном от акустических восприятий[3], и этим, так сказать, определяется особое чувственное происхождение системы *Псз*. Зрительными компонентами словесного представления как вторичными, приобретенными благодаря чтению, можно пока пренебречь, равно как и двигательными образами слова, которые у всех людей за исключением глухонемых играют роль подкрепляющих знаков. Ведь слово, собственно говоря, — это остаток воспоминания об услышанном слове.

Мы не вправе забывать, например упрощения ради, о значении остатков оптических воспоминаний о предметах или отрицать, что осознание мыслительных процессов возможно через возвращение к зрительным остаткам, и многие люди, по-видимому, предпочитают такой способ. Представление о своеобразии этого зрительного мышления можно получить из изучения сновидений и исследования предсознательных фантазий, проведенного Я. Варендонком[4]. Мы узнаем, что при

[1] Ср. главу 7, раздел Б «Толкования сновидений» (1900).

[2] Эта идея была высказана Брейером в подготовленном им теоретическом разделе в «Этюдах об истерии» (1895); см. «Метапсихологическое дополнение к теории сновидений» (1917).

[3] Основываясь на данных из патологии, Фрейд пришел к этому выводу в своей монографии об афазиях (1891).

[4] Ср. книгу Варендонка (*Varendonck,* 1921), к которой Фрейд написал предисловие (1921).

этом большей частью осознается только конкретный материал мысли, но отношениям, которые прежде всего характеризуют мысль, зрительного выражения дать нельзя. Следовательно, мышление в образах — это лишь весьма несовершенное осознание. Кроме того, оно ближе к бессознательным процессам, чем вербальное мышление, и несомненно, в онто- и филогенетическом отношении древнее последнего.

Итак — возвращаясь к нашей аргументации, — если именно таков путь, по которому нечто само по себе бессознательное становится предсознательным, то на вопрос, каким образом нечто вытесненное мы делаем (пред)сознательным, следует ответить: создавая аналитической работой такие *Псз* промежуточные звенья. Таким образом, сознание остается на своем месте, но и *Бсз* не поднялось до *Сз*.

Если отношение внешнего восприятия к Я совершенно очевидно, то отношение внутреннего восприятия к Я требует особого исследования. Из-за этого вновь возникает сомнение в том, действительно ли правильно относить все сознательное к поверхностной системе восприятие–сознание (*В–Сз*). Внутреннее восприятие дает ощущения о процессах, происходящих в самых разных, разумеется, также и в самых глубоких слоях душевного аппарата. Они мало известны, а их лучшим образцом можно считать ряд удовольствие–неудовольствие. Они являются более древними, более элементарными, чем ощущения, проистекающие извне, и могут возникать также в состояниях помутненного сознания. Об их большом экономическом значении и его метапсихологическом обосновании я уже говорил в другой работе. Эти ощущения имеют множественную локализацию, как и внешние восприятия, и могут поступать одновременно с разных сторон и при этом иметь разные, также и противоположные качества.

Ощущения с характером удовольствия не содержат в себе ничего императивного, и наоборот, это качество в высшей степени присуще ощущениям неудовольствия. Они требуют изменения, отвода, и поэтому мы истолковываем неудовольствие как повышение, а удовольствие как снижение энергетического катексиса[1]. Если мы назовем то, что осознается как удовольствие или неудовольствие, количественно-качественно «другим» в душевном процессе, то возникает вопрос: может

1 «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

ли такое другое осознаваться на месте или его надо подвести к системе *В*?

Клинический опыт свидетельствует о последнем. Он показывает, что это «другое» ведет себя словно вытесненный импульс. Оно может проявлять побудительные силы, при этом Я принуждения не замечает. Только сопротивление принуждению, задержка реакции отвода сразу же позволяет осознать это другое как неудовольствие. Подобно напряжению, вызванному потребностями, также и боль — нечто среднее между внешним и внутренним восприятием — может оставаться бессознательной; она ведет себя как внутреннее восприятие даже тогда, когда происходит от внешнего мира. Таким образом, остается верным, что чувства и ощущения также становятся сознательными только благодаря тому, что достигают системы *В*; если переход прегражден, то они не возникают в виде ощущений, хотя соответствующее им «другое» в процессе возбуждения остается тем же. Упрощенно и не совсем правильно мы говорим в таком случае о *бессознательных ощущениях*, придерживаясь аналогии с *бессознательными представлениями*, которая не вполне обоснованна. Различие заключается в следующем: чтобы довести *Бсз* представление до *Сз*, сначала нужно создать для него связующие звенья, тогда как для ощущений, передающихся непосредственно, необходимость в этом отпадает. Иными словами, различие между *Сз* и *Псз* в случае ощущений не имеет смысла, *Псз* здесь выпадает, ощущения бывают или сознательными, или бессознательными. Даже когда они связываются со словесными представлениями, они не обязаны им своим осознанием — они становятся сознательными непосредственно[1].

Теперь роль словесных представлений становится совершенно ясной. Благодаря их содействию внутренние мыслительные процессы превращаются в восприятия. Тем самым как будто подтверждается тезис: все знание происходит от внешнего восприятия. При гиперкатексисе мысли действительно воспринимаются словно извне и поэтому считаются верными.

После такого разъяснения отношений между внешним и внутренним восприятием и поверхностной системой *В–Сз* мы можем приступить к расширению своих представлений о Я.

[1] См. раздел III работы «Бессознательное» (1915).

Мы видим, что оно исходит из системы *В* как своего ядра и прежде всего охватывает *Псз*, опирающееся на остатки воспоминаний. Но, как мы узнали, Я тоже бывает бессознательным.

Теперь, я думаю, мы получим большую пользу, если последуем инициативе одного автора, который напрасно по личным мотивам заверяет, что ничего общего со строгой высокой наукой не имеет. Я говорю о Г. Гроддеке, который постоянно подчеркивает, что то, что мы называем нашим Я, в основном ведет себя в жизни пассивно, и, по его выражению, нас *«оживляют»* неизвестные, не поддающиеся управлению силы[1]. Все мы испытывали те же самые впечатления, хотя они и не овладевали нами настолько, что исключали все остальное, и мы должны отвести идее Гроддека надлежащее место в структуре науки. Я предлагаю воздать ей должное, обозначив инстанцию, исходящую из системы *В*, которая вначале бывает *псз*, понятием Я, а остальное психическое, в котором она продолжается и которое ведет себя как *Бсз*, — по примеру Гроддека, — Оно[2].

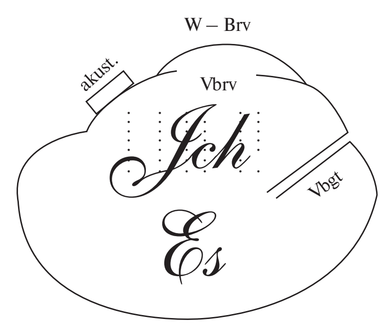
Мы скоро увидим, можно ли извлечь из такого представления пользу для описания и понимания. Теперь индивид для нас — это психическое Оно, непознанное и бессознательное, на поверхности которого покоится Я, развившееся из системы *В* как ядра. Если мы хотим дать графическое изображение, то можно добавить, что Я не охватывает Оно целиком, а только постольку, поскольку система *В* образует его [Я] поверхность, то есть примерно так, как зародышевый диск расположен в яйце. Я не отделено строго от Оно и внизу с ним сливается.

Но и вытесненное сливается с Оно, являясь лишь его частью. Вытесненное отделено от Я только с помощью сопротивлений, сопровождающих вытеснение, и может сообщаться с ним через Оно. Мы сразу видим, что почти все разграничения, описанные нами на основании данных патологии, относятся только к — единственно нам известным — поверхностным слоям душевного аппарата. Мы могли бы пред-

[1] Г. Гроддек «Книга об Оно» (1923).

[2] Сам Гроддек, вероятно, последовал примеру Ницше, который часто употреблял это грамматическое выражение для обозначения безличного и, так сказать, природно-необходимого в нашей сущности.

ставить эти отношения в виде рисунка[1], который служит лишь для наглядности изображения и не претендует на особое истолкование. Добавим только, что на Я как бы надет «слуховой колпак», причем, по свидетельству специалистов в области анатомии мозга, только на одну сторону, так сказать, набекрень[2].



Легко убедиться, что Я — это часть Оно, измененная под непосредственным воздействием внешнего мира и при содействии *В–Сз*, своего рода продолжение дифференциации поверхности. Я старается также донести до Оно влияния и намерения внешнего мира, стремится заменить принцип удовольствия, безраздельно властвующий в Оно, принципом реальности. Восприятие играет для Я такую же роль, какая в Оно отводится влечениям. Я репрезентирует то, что можно назвать разумом и рассудительностью, в противоположность Оно, содержащему страсти. Все это совпадает с общеизвестными популярными разграничениями, но такое утверждение также следует считать правильным только для усредненного или идеального случая.

Функциональная важность Я выражается в том, что в обычных условиях оно распоряжается доступом к подвижности. Так, по отношению к Оно Я похоже на всадника, кото-

[1] Ср. несколько отличающуюся диаграмму в конце 31-й лекции «Нового цикла» (1933). Совершенно другое графическое изображение в «Толковании сновидений» (1900), а также предшествующее ему изображение в письме Флиссу от 6 декабря 1896 года (Freud, 1950, письмо №52) касаются как функции, так и структуры.

[2] Здесь Фрейд, возможно, имел в виду высший мозговой акустический центр, речевой центр Вернике, расположенный в мозгу и играющий определенную роль в понимании речи.

рый должен обуздать превосходящую по силе лошадь, с той только разницей, что всадник пытается это сделать собственными силами, а Я — взятыми взаймы. Это сравнение можно продолжить. Как и всадник, оно не хочет расстаться с лошадью, зачастую ему не остается ничего другого, как вести ее туда, куда хочется ей; так и Я обычно превращает волю Оно в действие, словно это была его собственная воля[1].

Помимо влияния системы *В*, на возникновение Я и его отделение от Оно, по-видимому, повлиял еще один момент. Собственное тело и прежде всего его поверхность — это как раз то место, из которого могут исходить одновременно внешние и внутренние восприятия. С помощью зрения оно воспринимается как другой объект, но на уровне осязания дает ощущения двоякого рода, одни из которых могут быть приравнены к внутреннему восприятию. В психофизиологии было в достаточной мере объяснено, каким образом собственное тело выделяется из мира восприятий. Похоже, что боль при этом также играет определенную роль, а способ, которым человек при сопровождающихся болью заболеваниях получает знание о своих органах, является, пожалуй, прототипом того, как у него вообще возникает представление о собственном теле.

Я прежде всего телесно, оно представляет собой не только некое существо, имеющее поверхность, но и само есть проекция этой поверхности[2]. Если подыскать ему анатомическую аналогию, то, скорее всего, его можно идентифицировать с «человечком с мозгом « анатомов, который в коре мозга стоит

---

[1] Сравнение со всадником и лошадью содержится также в 31-й лекции «Нового цикла» (1933).

[2] «I. e. the ego is ultimately derived from bodily sensations, chiefly from those springing from the surface of the body. It may thus be regarded as a mental projection of the surface of the body, besides, as we have seen above, representing the superficies of the mental apparatus». «То есть Эго в конечном счете происходит от телесных ощущений, главным образом ощущений, проистекающих из поверхности тела. Таким образом оно может быть расценено как психическая проекция поверхности тела, кроме того, как мы видели выше, из ощущений, репрезентирующих поверхность психического аппарата». — Это примечание, написанное в оригинале на английском языке, впервые встречается в переводе, опубликованном в 1927 году в Лондоне *(The Ego and the Id)*, где оно отмечено как принадлежащее Фрейду. Во всех прежних немецких изданиях это примечание отсутствует; его немецкая версия не сохранилась.

на голове, вытягивает пятки кверху, глядит назад, а на левой стороне, как известно, у него находится речевая зона.

Отношению Я к сознанию неоднократно отдавалось должное, и все же здесь следует вновь описать некоторые важные факты. Привыкшие во все привносить социальную или этическую оценку, мы не удивимся, услышав, что кипение низших страстей происходит в бессознательном, но ожидаем, что душевные функции тем проще найдут надежный доступ к сознанию, чем выше они оцениваются. Однако здесь психоаналитический опыт нас разочаровывает. С одной стороны, у нас есть доказательства, что даже тонкая и трудная интеллектуальная работа, обычно требующая напряженного размышления, может совершаться бессознательно, не доходя до сознания. Такие случаи не вызывают никаких сомнений, они происходят, например, в состоянии сна и выражаются в том, что человек непосредственно после пробуждения знает решение трудной математической или иной задачи, над которой он тщетно бился накануне[1].

Однако гораздо более странное впечатление производит другой опыт. В ходе своих анализов мы узнаем, что есть люди, у которых самокритика и совесть, то есть чрезвычайно ценная работа души, являются бессознательными и оказывают чрезвычайно важное воздействие, будучи бессознательными; тот факт, что при анализе сопротивление остается бессознательным, — отнюдь не единственная ситуация такого рода. Но новый опыт, вынуждающий нас, несмотря на все критическое понимание, говорить о *бессознательном чувстве вины*[2], озадачивает нас еще больше и задает нам новые загадки, особенно если мы постепенно начинаем догадываться, что такое бессознательное чувство вины играет решающую в экономическом отношении роль в большом числе неврозов и создает сильнейшее препятствие на пути к выздоровлению. Если вернуться к нашей оценочной шкале, то мы должны ска-

[1] Как раз о таком факте мне сообщили совсем недавно, причем в качестве возражения против моего описания «работы сновидения». Ср. «Толкование сновидений» (1900), *Studienausgabe*, т. 2, с. 87 и 538.

[2] Эта формулировка содержится еще в работе Фрейда «Навязчивые действия и религиозные обряды» (1907). Однако наметки этой идеи относятся к гораздо более раннему периоду, в частности их можно найти в разделе II первого очерка Фрейда, посвященного защитным психоневрозам (1894).

зать: не только самое глубокое, но и самое высокое в Я может быть бессознательным. Таким образом нам словно демонстрируется то, что мы ранее говорили о сознательном Я, а именно: прежде всего это телесное Я.

3. Я И СВЕРХ-Я (Я-ИДЕАЛ)

Если бы Я было только частью Оно, изменившейся под влиянием системы восприятия, то есть представителем реального внешнего мира в психике, то все было бы просто. Но здесь добавляется нечто иное.

Мотивы, побудившие нас предположить наличие в Я еще одной ступени — дифференциации внутри самого Я, — которую можно назвать *Я-идеалом* или *Сверх-Я*, уже были разъяснены в других местах. Эти мотивы обоснованны[1]. То, что эта часть Я имеет менее прочные отношения с сознанием, — новость, нуждающаяся в объяснении.

Здесь нам придется сделать небольшое отступление. Нам удалось разъяснить болезненные страдания при меланхолии благодаря предположению, что в Я восстанавливается утраченный объект, то есть объектный катексис заменяется идентификацией[2]. Но тогда мы еще не понимали всего значения этого процесса и не знали, как часто он встречается и насколько он типичен. Позднее мы поняли, что такая замена играет важную роль в образовании Я и вносит существенный вклад в формирование того, что человек называет своим *характером*[3].

Изначально, в примитивной оральной фазе развития индивида, объектный катексис и идентификацию, пожалуй, не

[1] Только то, что функцию проверки реальности я приписал этому Сверх-Я, представляется ошибочным и нуждается в исправлении. См. «Психология масс и анализ Я» (1921), а также «Предварительные замечания издателей» к метапсихологической статье о сновидениях (1917). Если бы проверка реальности оставалась собственной задачей Я, то это вполне соответствовало бы его отношениям с миром восприятий. — Также и более ранние, весьма неопределенные высказывания о *ядре Я* теперь необходимо скорректировать в том смысле, что ядром Я следует признать только систему *В–Сз*. [В работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) Фрейд назвал бессознательную часть Я его ядром; а в своей более поздней работе, посвященной юмору (1927), ядром Я он назвал Сверх-Я).]

[2] «Печаль и меланхолия» (1917).

[3] Некоторые ссылки на другие работы, в которых Фрейд обсуждает вопрос формирования характера, содержатся в примечании в конце работы «Характер и анальная эротика» (1908).

различить[1]. Позднее можно только предположить, что объектные катексисы исходят из Оно, которое ощущает эротические стремления как потребности. Я, вначале пока еще слабое, получает знание об объектных катексисах, поддается им или пытается защититься от них через процесс вытеснения[2].

Если человеку приходится или становится необходимым покинуть такой сексуальный объект, то взамен нередко происходит изменение Я, которое, как и при меланхолии, следует описать как укрепление объекта в Я; дальнейшие подробности этой замены нам пока неизвестны. Возможно, благодаря такой интроекции, которая представляет собой своего рода регрессию к механизму оральной фазы, Я облегчает или делает возможным отказ от объекта. Возможно, эта идентификация вообще и есть то условие, при котором Оно отказывается от своих объектов. Во всяком случае, этот процесс — особенно в ранних фазах развития — встречается очень часто, и мы можем предположить, что характер Я является осадком катексисов объектов, от которых пришлось отказаться, что он содержит историю этих объектных выборов. Разумеется, с самого начала следует допустить наличие шкалы сопротивляемости, то есть того, насколько характер человека отвергает или принимает эти влияния из истории выборов эротических объектов. Думается, что у женщин, имевших большой любовный опыт, легко можно выявить в чертах характера остатки их объектных катексисов. Надо учитывать также одновременность объектного катексиса и идентификации, то есть изменение характера еще до того, как произошел отказ от объекта. В этом случае изменение характера может оказаться более продолжительным, чем катексис объекта, и в известном смысле его законсервировать.

Согласно другой точке зрения, это преобразование выбора эротического объекта в изменение Я также представля-

[1] Ср. главу 7 работы «Психология масс и анализ Я» (1921).

[2] Интересную параллель замене выбора объекта идентификацией содержат вера первобытного человека в то, что свойства съеденного животного перейдут к тому, кто его съел, и основанные на ней запреты. Как известно, эта вера служит также одним из обоснований каннибализма и проявляется в целом ряде обычаев тотемной трапезы вплоть до святого причастия. [Ср. «Тотем и табу» (1912–1913).] Следствия, которые здесь приписываются оральному овладению объектом, полностью относятся и к последующему выбору сексуального объекта.

ет собой способ, благодаря которому Я может овладеть Оно и углубить свои отношения с ним, правда, ценой значительной уступчивости его переживаниям. Принимая черты объекта, Я, так сказать, навязывает себя Оно в качестве объекта любви, старается возместить Оно его потерю, говоря: «Смотри, ты можешь любить и меня, ведь я так похоже на объект».

Превращение объектного либидо в нарциссическое либидо, которое здесь происходит, очевидно, приводит к отказу от сексуальных целей, к десексуализации, то есть к своего рода сублимации. Более того, возникает вопрос, заслуживающий более подробного рассмотрения, а именно: не является ли это общераспространенным путем к сублимации, не совершается ли всякая сублимация при содействии Я, которое сначала превращает сексуальное объектное либидо в нарциссическое, чтобы затем, быть может, поставить ему другую цель?[1] Позднее мы еще обсудим вопрос, не может ли это превращение повлиять на судьбы влечений и по-другому, например, повлечь за собой расслоение различных слившихся друг с другом влечений.

Мы отклоняемся от цели, однако не можем не остановить свое внимание на какое-то время на объектных идентификациях Я. Если они берут верх, становятся слишком многочисленными, чересчур сильными и несовместимыми друг с другом, то можно ожидать патологического результата. Дело может дойти до расщепления Я, когда отдельные идентификации из-за сопротивлений изолируются друг от друга, и возможно, тайна случаев так называемой *множественной личности* как раз и заключается в том, что отдельные идентификации попеременно привлекают к себе сознание. Даже если до этого не доходит, все же возникает вопрос конфликтов между различными идентификациями, на которые распадается Я, — конфликтов, которые в конечном счете отнюдь не всегда можно охарактеризовать как патологические.

Какую бы форму ни приобрело последующее сопротивление характера влияниям отвергнутых объектных катексисов, воздействие первых идентификаций, произошедших в

---

[1] Теперь, после отделения Я от Оно, огромным резервуаром либидо в том значении, в каком оно рассматривается в работе «О введении понятия “нарцизм”» [1914], следует признать Оно. Либидо, поступающее в Я благодаря описанным идентификациям, создает его *«вторичный нарцизм»*.

самом раннем возрасте, будет всеобщим и стойким. Это возвращает нас к возникновению Я-идеала, ибо за ним скрывается первая и самая важная идентификация индивида — идентификация с отцом в личное доисторическое время[1]. Она, по-видимому, не является следствием или результатом катексиса объекта, эта идентификация прямая, непосредственная и более ранняя, чем любой объектный катексис[2]. Однако кажется, что выборы объекта, относящиеся к первому сексуальному периоду и касающиеся отца и матери, при нормальном ходе событий приводят к подобной идентификации и тем самым усиливают первичную идентификацию.

Тем не менее эти отношения настолько сложны, что возникает необходимость описать их подробнее. Эта сложность обусловлена двумя моментами — треугольной конструкцией эдиповых отношений и конституциональной бисексуальностью индивида.

Упрощенно формирование эдипова комплекса у ребенка мужского пола можно представить следующим образом: уже в самом раннем возрасте у него возникает в отношении матери объектный катексис, исходным пунктом которого является материнская грудь, и этот катексис служит образцовым примером выбора объекта по типу примыкания[3]; отцом же мальчик овладевает посредством идентификации. Некоторое время два этих вида отношений существуют параллельно, пока в результате усиления сексуальных влечений к матери и понимания того, что отец представляет собой помеху для этих влечений, не возникает эдипов комплекс[4]. Теперь идентификация с отцом приобретает оттенок враждебности и обращается в желание устранить отца, чтобы занять его место у матери. Отныне отношение к отцу становится амбивалентным; как

---

[1] Наверное, осторожнее было бы сказать «с родителями», ибо до четкого понимания половых различий, отсутствия пениса, отец и мать не расцениваются по-разному. Из истории одной молодой женщины мне недавно довелось узнать, что после того как она заметила у себя отсутствие пениса, она полагала, что этот орган отсутствует не у всех женщин, а только у тех, кого она считала неполноценными. По ее мнению, у ее матери он сохранился. [Ср. примечание к работе «Инфантильная генитальная организация» (1923).] Ради простоты изложения я буду говорить только об идентификации с отцом.

[2] См. начало главы 2 «Психологии масс» (1921).

[3] См. работу о нарцизме (1914).

[4] Ср. «Психология масс и анализ Я» (1921).

будто амбивалентность, с самого начала содержавшаяся в идентификации, теперь стала явной. Амбивалентная установка к отцу и исключительно нежное объектное стремление к матери составляют у мальчика содержание простого, позитивного эдипова комплекса.

При разрушении эдипова комплекса объектный катексис матери должен быть устранен. Вместо него могут произойти две вещи: либо возникнет идентификация с матерью, либо усилится идентификация с отцом. Последний исход мы обычно рассматриваем как более естественный, он позволяет в известной мере сохранить нежное отношение к матери. Таким образом, благодаря крушению эдипова комплекса[1] укрепилась бы мужественность в характере мальчика. Совершенно аналогичным образом[2] эдипова установка маленькой девочки может вылиться в усиление ее идентификации с матерью (или возникновение таковой), которая определяет женские черты характера ребенка.

Эти идентификации не соответствуют нашему ожиданию, ибо они не вводят в Я потерянный объект; но и такой результат тоже бывает, причем у девочек его наблюдать проще, чем у мальчиков. Из анализа очень часто можно узнать, что маленькая девочка, вынужденная отказаться от отца как объекта любви, проявляет теперь свою мужественность и идентифицируется не с матерью, а с отцом, то есть с потерянным объектом. При этом очевидно, что многое зависит от того, достаточно ли сильны ее мужские задатки, в чем бы они ни состояли.

Таким образом, разрешение эдиповой ситуации в идентификации с отцом или матерью у обоих полов зависит, по-видимому, от относительной силы соответствующих задатков. Это один из способов, которым бисексуальность вмешивается в судьбу эдипова комплекса. Еще более важен другой способ. А именно: создается впечатление, что простой эдипов комплекс вообще не является наиболее распространенным;

---

[1] Ср. работу Фрейда под тем же названием (1924), в которой он рассматривает эту проблему более подробно.

[2] От представления о том, что разрешение эдипова комплекса у девочек и мальчиков происходит «совершенно аналогичным образом», Фрейд немного позднее отказался. См. «Предварительные замечания издателей» к работе «Некоторые психические последствия анатомического различия полов» (1925).

скорее, он соответствует некоторому упрощению или схематизации, которая, однако, довольно часто остается оправданной на практике. Чаще всего в ходе тщательного исследования выявляется *более полный* эдипов комплекс, который бывает двоякого рода — позитивным и негативным, в зависимости от первоначальной бисексуальности ребенка; то есть мальчику не только присущи амбивалентная установка по отношению к отцу и продиктованный нежными чувствами объектный выбор матери, но вместе с тем он ведет себя, как девочка, — проявляет нежную женскую установку по отношению к отцу и соответствующую ревниво-враждебную — к матери. Из-за этого вмешательства бисексуальности становится очень сложно проследить отношения между примитивными выборами объекта и идентификациями и еще труднее — доходчиво описать их. Возможно также, что амбивалентность, выявленную в отношении к родителям, следовало бы целиком свести к бисексуальности, и что она не возникает, как я описывал выше, из идентификации вследствие установки соперничества[1].

Я думаю, мы поступим правильно, допустив существование полного эдипова комплекса вообще и у невротиков особенно. Далее, аналитический опыт показывает, что во множестве случаев та или иная составная часть его исчезает, не оставляя заметных следов; в результате получается ряд, на одном конце которого находится нормальный, позитивный, а на другом конце — обратный, негативный эдипов комплекс, средние же звенья отображают полную форму комплекса с неодинаковым участием обоих компонентов. При разрушении эдипова комплекса четыре содержащихся в нем стремления будут сочетаться таким образом, что из них получится одна идентификация с отцом и одна — с матерью. Идентифи-

[1] Убежденность Фрейда в значении бисексуальности простирается в далекое прошлое. Например, в первом издании «Трех очерков» (1905) он писал: «Я... думаю, что без учета бисексуальности едва ли можно прийти к пониманию фактически наблюдаемых сексуальных проявлений у мужчины и женщины». Но еще раньше в письме Флиссу (который оказал на него значительное влияние в этой области) есть место, посвященное бисексуальности, которое, по существу, предвосхищает вышеупомянутый пассаж (Freud, 1950, письмо № 113 от 1 августа 1899 года): «...бисексуальность! По поводу которой ты, несомненно, прав. Я также привыкаю понимать любой сексуальный акт как некий процесс, происходящий между четырьмя индивидами».

кация с отцом удержит материнский объект позитивного комплекса и одновременно заменит отцовский объект обратного комплекса; нечто подобное происходит при идентификации с матерью. В различной силе выражения обеих идентификаций отразится неравенство обоих половых задатков.

Таким образом, можно предположить, что самый общий итог сексуальной фазы, в которой властвует эдипов комплекс, — это отражение в Я этих двух каким-то образом согласованных между собой идентификаций. Это изменение Я сохраняет свое особое положение, оно противостоит другому содержанию Я в качестве Я-идеала, или Сверх-Я.

Однако Сверх-Я — это не просто осадок первых выборов объекта со стороны Оно, Сверх-Я имеет также значение энергичной реакции против них. Его отношение к Я не исчерпывается призывом «Ты *должен* быть таким же (как отец)», оно включает также запрет: «Таким (как отец) ты *не смеешь* быть, то есть ты не вправе делать всего, что делает отец; кое-что остается только за ним». Эта двойственность Я-идеала объясняется тем, что Я-идеал использовался для вытеснения эдипова комплекса, более того, своим возникновением он как раз и обязан такому повороту. Очевидно, вытеснение эдипова комплекса было непростой задачей. Поскольку родители, особенно отец, воспринимаются как помеха осуществлению эдиповых желаний, инфантильное Я укрепилось, чтобы совершить это вытеснение, создав само в себе такое же препятствие. В известной мере эти силы были заимствованы им у отца, и это заимствование представляет собой акт, имеющий чрезвычайно важные последствия. Сверх-Я сохранит характер отца, и чем сильнее был эдипов комплекс, чем стремительнее (под влиянием авторитета, религиозного учения, образования и чтения) происходило его вытеснение, тем строже Сверх-Я позднее будет повелевать Я в виде совести, возможно, в виде бессознательного чувства вины. Откуда оно черпает силы для такого господства, откуда берется его принудительный характер, выражающийся в форме категорического императива, — на этот счет я позже выскажу одно предположение.

Еще раз рассмотрев описанное здесь возникновение Сверх-Я, мы должны будем признать, что оно является результатом влияния двух в высшей степени важных биологи-

ческих факторов — длительной беспомощности и зависимости человека в детстве и наличия у него эдипова комплекса, который мы свели к прерыванию либидинозного развития в латентный период и, таким образом, к *двухфазному началу* сексуальной жизни у человека[1]. Согласно психоаналитической гипотезе, последняя, по-видимому, специфически человеческая особенность предстает как унаследованное в ходе культурного развития качество, к возникновению которого привел ледниковый период[2]. Таким образом, в отделении Сверх-Я от Я нет ничего случайного, оно отражает самые важные черты индивидуального развития и развития вида; более того, придавая влиянию родителей устойчивое выражение, оно увековечивает существование факторов, которым обязано своим происхождением.

Психоанализ бесчисленное количество раз упрекали в том, что ему нет дела до высшего, морального, надличного в человеке. Этот упрек был несправедлив вдвойне — и в историческом, и в методическом отношении. Во-первых, потому, что моральным и эстетическим тенденциям в Я с самого начала приписывался импульс к вытеснению; во-вторых, потому, что никто не хотел признавать, что психоаналитическое ис-

[1] По настоятельному указанию Фрейда в опубликованный в 1927 году перевод, который был сделан Джоан Ривьер, была включена несколько измененная версия данного отрывка. Однако до сих пор эти исправления не были внесены ни в одно из немецких изданий. В пересмотренной Фрейдом редакции (немецкого текста которой не существует) он звучит следующим образом: «If we consider once more the origin of the super-ego as we have described it, we shall recognize that it is the outcome of two highly important factors, one of a biological and the other of a historical nature; namely, the lengthy duration in man of his childhood helplessness and dependence, and the fact of his Oedipus complex, the repression of which we have shown to be connected with the interruption of libidinal development by the latency period and so with the diphasic onset of man's sexual life». («Если мы еще раз рассмотрим возникновение Сверх-Я, как мы его описали, то должны будем признать, что оно является результатом влияния двух в высшей степени важных факторов, один из которых имеет биологическую, а другой — историческую природу; а именно длительной беспомощности и зависимости человека в детстве и наличия у него эдипова комплекса, вытеснение которого, как было нами показано, связано с прерыванием либидинозного развития в латентный период и, таким образом, с двухфазным началом сексуальной жизни у человека».)

[2] Эта идея была выдвинута Ференци (1913). Еще более определенно Фрейд поддержал ее в конце главы 10 работы «Торможение, симптом и страх» (1926).

следование не могло выступить как философия, с полной и завершенной научной системой, а должно было шаг за шагом прокладывать себе путь к пониманию душевных проблем посредством аналитического разбора нормальных и анормальных феноменов. Нам не нужно было разделять трепетное беспокойство о наличии высшего в человеке, пока мы должны были заниматься изучением вытесненного в душевной жизни. Теперь, осмелившись приступить к анализу Я, мы можем ответить всем тем, кто, испытав потрясение своего нравственного сознания, сетовал, что должно же быть в человеке высшее существо: «Разумеется, и это высшее существо — Я-идеал, или Сверх-Я, репрезентация нашего отношения к родителям. Будучи маленькими детьми, мы знали этих высших существ, восхищались ими, боялись их, а позднее приняли в самих себя».

Таким образом, Я-идеал представляет собой наследие эдипова комплекса и вместе с тем выражение сильнейших побуждений Оно и важнейших судеб его либидо. Создав такой идеал, Я одолело эдипов комплекс и одновременно подчинило себя Оно. В то время как Я, в сущности, — это репрезентант внешнего мира, реальности, то Сверх-Я противостоит ему как поверенный внутреннего мира, Оно. Конфликты между Я и идеалом в конечном счете будут отражать — к этому мы теперь уже подготовлены — противоположности реального и психического, внешнего мира и мира внутреннего.

То, что биология и судьбы человеческого вида создали и оставили после себя в Оно, перенимается Я благодаря образованию идеала и индивидуально заново в нем переживается. В силу самой истории своего образования Я-идеал имеет самую тесную связь с тем, что было приобретено индивидом в филогенезе, его архаическим наследием. То, что в отдельной душевной жизни относилось к самым глубоким слоям, благодаря образованию идеала становится наивысшим в душе человека в значении наших оценок. Однако было бы напрасным трудом стараться локализовать Я-идеал хотя бы аналогичным образом, как Я, или подогнать его под одно из тех сравнений, с помощью которых мы пытались изобразить отношения между Я и Оно.

Легко показать, что Я-идеал удовлетворяет всем требованиям, которые предъявляются к высшему существу в человеке. В качестве замены стремления к отцу оно содержит в

себе зародыш, из которого образовались все религии. Суждение о собственной несостоятельности при сравнении Я со своим идеалом вызывает то смиренное религиозное ощущение, на которое ссылается страстно верующий. В ходе дальнейшего развития роль отца продолжали играть учителя и авторитеты ; их заветы и запреты сохранили свою власть в Я-идеале и теперь осуществляют моральную цензуру в виде совести. Напряженные отношения между требованиями совести и поступками Я ощущаются как *чувство вины*. Социальные чувства основаны на идентификациях с другими людьми,возникающих из-за сходства Я-идеала.

Религия, мораль и социальное чувство — эти главные содержания высшего в человеке[1] — первоначально составляли единое целое. Согласно гипотезе, изложенной в работе «Тотем и табу»[2], филогенетически они были приобретены на основе отцовского комплекса; религия и моральные ограничения — благодаря преодолению собственно эдипова комплекса, социальные чувства — в силу необходимости преодолеть сохранявшееся соперничество между представителями молодого поколения. Во всех этих моральных приобретениях мужской пол, по-видимому, шел во главе; перекрестное наследование сделало их также достоянием женщин. И сегодня социальные чувства у отдельного человека по-прежнему возникают как надстройка над импульсами ревнивого соперничества между сестрами и братьями. Поскольку враждебные побуждения нельзя удовлетворить, возникает идентификация с первоначальным соперником. Наблюдения за умеренными гомосексуалистами подтверждают предположение, что и эта идентификация представляет собой замену основанного на нежных чувствах выбора объекта вместо агрессивно-враждебной установки[3].

Однако с упоминанием филогенеза возникают новые проблемы, от разрешения которых хотелось бы осторожно уклониться. Но ничего не поделаешь, следует отважиться на попытку ответа, даже если опасаешься, что она разоблачит недостаточность всех наших усилий. Вопрос таков: кто в свое время приобрел религию и нравственность на основе отцов-

[1] Наука и искусство оставлены здесь в стороне.

[2] *Freud* (1912–1913).

[3] Ср. «Психология масс и анализ Я» (1921). — «О невротических механизмах при ревности, паранойе и гомосексуализме» (1922).

ского комплекса — Я первобытного человека или его Оно? Если это было Я, то почему мы не говорим просто о наследовании в Я? Если это было Оно, то как это согласуется с характером Оно? Или, может быть, нельзя переносить дифференциацию на Я, Сверх-Я и Оно на такие ранние времена? Или надо честно признаться, что все представление о процессах Я ничего не дает для понимания филогенеза и неприменимо к нему?

Ответим сначала на то, на что ответить проще всего. Дифференциацию на Я и Оно мы должны признать не только у первобытных людей, но и у гораздо более простых живых существ, поскольку она является необходимым выражением влияния внешнего мира. Возникновение Сверх-Я мы только что вывели из тех переживаний, которые привели к тотемизму. Вопрос о том, кому достались те знания и приобретения — Я или Оно, — вскоре отпадает сам собой. Следующее соображение говорит нам, что Оно не может пережить или испытать внешнюю судьбу, кроме как через Я, которое замещает у него внешний мир. Однако о прямом наследовании в Я все же говорить нельзя. Здесь открывается пропасть между реальным индивидом и понятием вида. Кроме того, нельзя слишком жестко подходить к различию между Я и Оно, нельзя забывать, что Я представляет собой наиболее дифференцированную часть Оно. Сначала кажется, что переживания Я оказываются потерянными для наследования, но если они достаточно часто и интенсивно повторяются у многих следующих друг за другом поколений людей, то они, так сказать, превращаются в переживания Оно, впечатления которых закрепляются благодаря наследованию. Таким образом, наследственное Оно заключает в себе остатки бесчисленных существований Я, и когда Я черпает свое Сверх-Я из Оно, оно, пожалуй, лишь вновь обнаруживает более давние формы Я, их воскрешая.

Из истории возникновения Сверх-Я становится понятным, что ранние конфликты Я с объектными катексисами Оно могут продолжаться в конфликтах с их наследником — Сверх-Я. Если Я плохо удается преодоление эдипова комплекса, то его проистекающий из Оно энергетический катексис вновь проявляется в реактивном образовании Я-идеала. Тесная связь этого идеала с *Бсз* импульсами влечений позволяет разгадать загадку, почему сам идеал большей частью может оставаться бессознательным, недоступным для Я. Борьба, бушевавшая в более глу-

боких слоях и не прекратившаяся в результате быстрой сублимации и идентификации, продолжается, как на картине Каульбаха «Битва гуннов», в более высокой сфере[1].

4. ДВА ВИДА ВЛЕЧЕНИЙ

Мы уже говорили, что, если разделение нами психического существа на Оно, Я и Сверх-Я означает шаг вперед в нашем познании, то оно должно также стать средством более глубокого понимания и лучшего описания динамических отношений душевной жизни. Мы уже также выяснили, что Я находится под особым влиянием восприятия, и в целом можно сказать, что восприятия имеют для Я то же значение, что и влечения для Оно. Но при этом Я подвергается воздействию влечений точно так же, как и Оно; ведь Я — это лишь наиболее модифицированная часть Оно.

Недавно (в работе «По ту сторону принципа удовольствия» [1920]) я изложил свои представления о влечениях; я буду здесь их придерживаться, и они будут положены в основу дальнейшего обсуждения. Я говорил, что следует различать два вида влечений, одни из которых — *сексуальные влечения,* или *эрос,* — гораздо более очевидны и более доступны изучению. Они охватывают не только ничем не стесненное сексуальное влечение как таковое и производные от него целезаторможенные и сублимированные импульсы влечения, но и влечение к самосохранению, которое мы должны приписать Я и которое мы в начале аналитической работы с полным основанием противопоставили сексуальным объектным влечениям. Рассмотрение второго вида влечений было сопряжено для нас с трудностями; в конце концов мы пришли к тому, чтобы рассматривать садизм в качестве его репрезентантов. На основе теоретических рассуждений, опирающихся на биологию, мы выдвинули гипотезу о существовании *влечения к смерти,* перед которым стоит задача привести органическое живое в безжизненное состояние, тогда как эрос

---

[1] Речь идет об изображении битвы при Шалоне, в которой в 451 году римляне и вестготы победили Аттилу. Вильгельм фон Каульбах (1805–1874) сделал ее сюжетом фрески, первоначально предназначавшейся для Нового музея в Берлине. На картине мертвые воины продолжают сражаться на небесах, согласно легенде, которая восходит к жившему в шестом веке неоплатонику Дамаскиосу.

преследует цель усложнить жизнь путем объединения рассеянных частиц живой субстанции и, разумеется, сохранить ее при этом. Оба влечения ведут себя в самом строгом смысле слова консервативно, стремясь восстановить состояние, нарушенное возникновением жизни. Таким образом, возникновение жизни стало причиной продолжения жизни и вместе с тем стремления к смерти, а сама жизнь — борьбой и компромиссом между двумя этими стремлениями. Вопрос о происхождении жизни остается космологическим, а на вопрос о цели и назначении жизни можно дать *дуалистический* ответ.

Каждому из этих двух видов влечений присущ особый физиологический процесс (синтез и распад), в каждой части живой субстанции действуют оба влечения, но все же в неравных пропорциях, и поэтому одна субстанция может стать основным представителем эроса.

Пока совершенно невозможно представить себе, каким образом влечения обоих этих видов соединяются, смешиваются, образуют друг с другом сплавы; но гипотеза о том, что это происходит регулярно и в больших масштабах, в нашем контексте неопровержима. В результате соединения элементарных одноклеточных организмов и превращения их в многоклеточные живые существа удалось нейтрализовать влечение к смерти отдельной клетки и при помощи особого органа отвести деструктивные импульсы во внешний мир. Этим органом была мускулатура, а влечение к смерти — вероятно, все же только частично — выразилось в виде *деструктивного влечения*, направленного против внешнего мира и других живых существ[1].

Если мы приняли представление о смешении двух видов влечений, то напрашивается также мысль о возможности — более или менее полного — их *расслоения*[2]. Садистский компонент сексуального влечения можно рассматривать как классический пример целесообразного смешения влечений, а *садизм*, ставший самостоятельным, то есть перверсию, — как образец расслоения, правда, не доведенного до крайности. В таком случае нам становится понятной огромная область фактов, которая в таком свете еще не рассматривалась. Мы узнаем, что *деструктивное влечение* регулярно служит эросу в целях

[1] Фрейд возвращается к этому в работе «Экономическая проблема мазохизма» (1924).

[2] Сказанное в дальнейшем по поводу садизма уже было обозначено в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

разрядки, догадываемся, что эпилептический приступ представляет собой продукт и признак расслоения влечений[1], и начинаем понимать, что среди последствий многих тяжелых неврозов, например невроза навязчивых состояний, особое внимание должно быть уделено расслоению влечений и проявлению влечения к смерти. Обобщая это, мы хотели бы предположить, что сущность регрессии либидо, например, от генитальной к анально-садистской фазе, основывается на расслоении влечений, и, наоборот, условие прогресса от ранней к окончательной генитальной фазе — добавление эротических компонентов[2]. Возникает также вопрос, не следует ли понимать регулярно встречающуюся *амбивалентность*, усиление которой мы так часто обнаруживаем при конституциональной предрасположенности к неврозу, как результат расслоения; но только она настолько исконна, что ее следует рассматривать, скорее, как не произошедшее смешение влечений.

Разумеется, нас будут интересовать вопросы, нельзя ли найти содержательные отношения между предполагаемыми образованиями Я, Сверх-Я и Оно, с одной стороны, и двумя видами влечений — с другой; далее, можем ли мы указать принципу удовольствия, господствующему над душевными процессами, прочную позицию в отношении обоих видов влечений и психических дифференциаций. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этого вопроса, необходимо покончить с одним сомнением, направленным против самой постановки проблемы. Хотя в существовании принципа удовольствия нет никаких сомнений, а разделение Я основано на клинических фактах, разграничение двух видов влечений не кажется достаточно надежным, и возможно, факты клинического анализа откажутся от своих притязаний.

Такой факт, видимо, существует. Для противоположности между двумя видами влечений мы можем ввести полярность любви и ненависти[3]. Ведь репрезентацию эроса нам найти несложно, и наоборот, мы очень довольны, что для трудно-

---

[1] Ср. более позднюю работу о приступах у Достоевского (1928).

[2] К этому вопросу Фрейд также возвращается в работе «Торможение, симптом и страх» (1926).

[3] В связи с дальнейшими рассуждениями см. более раннее обсуждение отношений между любовью и ненавистью в работе «Влечения и их судьбы» (1915), а также более позднее обсуждение в главах 5 и 6 «Неудовлетворенности культурой» (1930).

постижимого влечения к смерти можем указать представителя в деструктивном влечении, путь которому показывает ненависть. Клинические наблюдения свидетельствуют о том, что ненависть не только на удивление регулярно сопровождает любовь (амбивалентность), не только зачастую предшествует ей в человеческих отношениях, но также и о том, что ненависть при разнообразных условиях превращается в любовь, а любовь — в ненависть. Если это превращение представляет собой нечто большее, чем просто временная последовательность, то есть чередование, то становится очевидным, что такое основополагающее различие, как между эротическими влечениями и влечениями к смерти, предполагающее противоположно протекающие физиологические процессы, оказывается лишенным почвы.

Тот случай, когда одного и того же человека сначала любят, а затем ненавидят, или наоборот, если он дал к этому поводы, к нашей проблеме, очевидно, не относится. Равно как и другой случай, когда еще не проявившаяся влюбленность сначала выражается как враждебность и склонность к агрессии, ибо при объектном катексисе мог предшествовать деструктивный компонент, а затем к нему добавился эротический. Но нам известны многие случаи из психологии неврозов, в которых гипотеза о превращении напрашивается сама собой. При *paranoia persecutoria*[1] больной известным образом защищается от слишком сильной гомосексуальной привязанности к определенному человеку, в результате чего этот самый любимый человек становится преследователем, против которого направлена зачастую опасная агрессия больного. Мы вправе заключить, что в предшествующей фазе любовь превратилась в ненависть. При возникновении гомосексуальности, но также десексуализированных социальных чувств, как совсем недавно показало аналитическое исследование, существуют порождающие склонность к агрессии сильные чувства соперничества, и только после их преодоления ранее ненавидимый объект становится любимым или предметом идентификации. Возникает вопрос, можно ли предполагать в этих случаях непосредственное превращение ненависти в любовь. Ведь речь здесь идет о чисто внутренних изменениях, к которым изменившееся поведение объекта непричастно.

[1] Мания преследования (*лат.*). — *Примечание переводчика.*

Однако аналитическое исследование процесса при паранойяльном превращении знакомит нас с возможностью существования другого механизма. При нем с самого начала существует амбивалентная установка, и превращение совершается путем реактивного смещения катексиса, когда эротический импульс лишается энергии и передается враждебной энергии.

Не совсем то же самое, но нечто похожее происходит при преодолении враждебного соперничества, ведущем к гомосексуализму. Враждебная установка не имеет перспектив получить удовлетворение, поэтому — по экономическим мотивам — она сменяется любовной установкой, которая предоставляет больше шансов на удовлетворение, то есть возможностей для отвода. Таким образом, ни в одном из этих случаев нам не следует предполагать, что происходит непосредственное превращение ненависти в любовь, которое было бы несовместимо с качественным различием обоих видов влечений.

Однако мы замечаем, что, рассматривая этот другой механизм превращения любви в ненависть, мы невольно сделали другое предположение, заслуживающее того, чтобы его огласили. Мы рассудили так, как будто в душевной жизни — неизвестно, в Я или в Оно, — существует некая перемещаемая энергия, которая, будучи сама по себе индифферентной, может присоединиться к качественно дифференцированному эротическому или деструктивному импульсу и усилить его общий катексис. Без предположения о такой способной к смещению энергии мы вообще обойтись не можем[1]. Вопрос только в том, откуда она берется, кому она принадлежит и что она означает.

Проблема качества импульсов влечений и их сохранения при различных судьбах влечений пока еще далеко не прояснена и в настоящее время едва разработана. В парциальных сексуальных влечениях, особенно хорошо доступных наблюдению, можно установить некоторые процессы, вписывающиеся в те же рамки; например, то, что парциальные влечения в известной степени сообщаются друг с другом, что влечение, проистекающее из особого эрогенного источника, может отдавать свою интенсивность для усиления парциального вле-

[1] Это утверждение Фрейд высказал еще в своей работе, посвященной нарцизму (1914).

чения из другого источника, что удовлетворение одного влечения заменяет удовлетворение другого и т. п., и это должно придать нам смелость, чтобы выдвинуть гипотезы определенного рода.

В данной дискуссии я тоже могу предложить только гипотезу, но не доказательство. Представляется вполне вероятным, что эта способная к смещению и индифферентная энергия, действующая, пожалуй, в Я и в Оно, происходит из запаса нарциссического либидо, то есть является десексуализированным эросом. Ведь эротические влечения вообще кажутся нам более пластичными, более способными к отклонению и смещению, чем деструктивные влечения. В таком случае без натяжки можно далее предположить, что это способное к перемещению либидо трудится на службе принципа удовольствия, чтобы избежать застоя и облегчить отвод. При этом нельзя не заметить некоторого безразличия к тому, каким путем происходит отвод, если он вообще происходит. Мы знаем эту черту как характерную для процессов катексиса в Оно. Она встречается при эротических катексисах, при этом в отношении объекта развивается своеобразное равнодушие, особенно при переносах в анализе, которые должны совершаться, не важно, на какой именно. Недавно Ранк (1913) привел прекрасные примеры того, как невротические реакции мести направляются не на того человека. При таком поведении бессознательного вспоминается забавный анекдот о том, как пришлось повесить одного из трех деревенских портных, потому что единственный в деревне кузнец совершил преступление, заслуживающее смертной казни[1]. То есть наказание должно быть в любом случае, даже если человек невиновен. На такое же свободное обращение мы впервые обратили внимание при смещениях первичного процесса в работе сновидения. Как здесь объекты, так в интересующем нас случае пути отвода принимаются во внимание лишь во вторую очередь. Настаивать на большей точности в выборе объекта, а также пути отвода — это было бы похоже на Я.

Если эта энергия смещения представляет собой десексуализированное либидо, то ее можно назвать также *сублими-*

[1] Эта история, которую Фрейд особенно высоко ценил, приводится в последней главе его книги об остроумии (1905), а также в 11-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917).

рованной, ибо она по-прежнему придерживалась бы главной цели эроса — соединять и связывать, служа установлению того единства, которым (или стремлением к которому) характеризуется Я. Если мы включим мыслительные процессы в широком смысле слова в эти смещения, то это значит, что и мыслительная работа совершается благодаря сублимации эротической энергии.

Здесь мы снова сталкиваемся с ранее упомянутой возможностью того, что сублимация регулярно происходит при содействии Я. Мы помним и другой случай, когда это Я осуществляет первые и, разумеется, также более поздние объектные катексисы Оно благодаря тому, что принимает в себя их либидо и связывает с изменением Я, вызванным идентификацией. Конечно, с этим превращением [эротического либидо] в либидо Я связан отказ от сексуальных целей — десексуализация. Во всяком случае, так мы получаем представление об одной важной функции Я в его отношении к эросу. Таким способом овладевая либидо объектных катексисов, выставляя себя единственным объектом любви, Я десексуализирует или сублимирует либидо Оно, действует вопреки намерениям эроса, начинает служить импульсам враждебных влечений. Я приходится примириться с другой частью объектных катексисов Оно, так сказать, соучаствовать. О другом возможном следствии этой деятельности Я мы поговорим позднее.

Тут необходимо сделать важное дополнение к теории нарцизма. В самом начале все либидо скапливается в Оно, в то время как Я пока еще лишь формируется или слабо. Оно направляет часть либидо на эротические объектные катексисы, после чего усилившееся Я пытается овладеть этой частью либидо и навязать себя Оно в качестве объекта любви. Таким образом, нарцизм Я является вторичным, лишенным объектов[1].

Снова и снова опыт показывает нам, что импульсы влечений, которые нам удается проследить, раскрываются как производные эроса. Если бы не было представлений, изложенных в работе «По ту сторону принципа удовольствия», и в конечном счете идеи о садистских дополнениях к эросу, то нам было бы трудно придерживаться основной дуалистиче-

[1] Этот вопрос рассматривается в приложении 2 к данной работе, с. 176.

ской концепции[1]. Но поскольку мы вынуждены это сделать, у нас должно возникнуть впечатление, что влечения к смерти в основном безмолвны, а шум жизни большей частью исходит от эроса[2].

А борьба против эроса! Невозможно отказаться от мысли, что принцип удовольствия служит для Оно компасом в борьбе против либидо, которое создает помехи течению жизни. Если в жизни господствует принцип константности (в понимании Фехнера[3]), который тогда должен бы быть соскальзыванием в смерть, то именно требования эроса, сексуальных влечений, в виде потребностей, обусловленных влечениями, препятствуют понижению уровня и создают новое напряжение. Оно, руководствуясь принципом удовольствия, то есть восприятием неудовольствия, защищается от них разными способами. Сначала — как можно быстрее уступая требованиям недесексуализированного либидо, следовательно, борясь за удовлетворение непосредственных сексуальных стремлений. И в гораздо больших масштабах — избавляясь от сексуальных субстанций в одной из форм такого удовлетворения, в которой соединяются все частичные требования, причем эти сексуальные субстанции представляют собой, так сказать, насыщенные носители эротического напряжения[4]. Выброс сексуальных веществ в половом акте в известной степени соответствует разделению сомы и зародышевой плазмы. Отсюда сходство состояния после полного сексуального удовлетворения с умиранием, а у низших животных — совпадение смерти с оплодотворением. Эти существа умирают при размножении, поскольку после исключения эроса в результате удовлетворения влечение к смерти получает свободу действия для осуществления своих замыслов. Наконец, Я, как мы уже знаем, облегчает Оно работу преодоления, сублимируя компоненты либидо как такового и его цели.

---

[1] Последовательность, с которой Фрейд придерживается дуалистического разделения влечений, проявляется в его пространном примечании в конце главы 6 работы «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). См. также исторический обзор в «Предварительных замечаниях издателей» к работе «Влечения и их судьбы» (1915).

[2] Ведь, по нашему мнению, направленные вовне деструктивные влечения через посредство эроса отвлеклись от собственного «Я».

[3] Ср. «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

[4] Фрейд обсуждает свои взгляды на роль «сексуальных субстанций» в разделе II третьего из своих очерков по теории сексуальности (1905).

5. ЗАВИСИМОСТИ Я

Пусть сложность и хитросплетения материала послужат оправданием, что ни один из подзаголовков не совпадает полностью с содержанием главы и что мы снова и снова возвращаемся к пройденному, собираясь изучать новые связи.

Так, мы уже не раз говорили, что Я большей частью образуется из идентификаций, которые сменяют утраченные катексисы Оно; что первые из этих идентификаций постоянно ведут себя как особая инстанция в Я, в виде Сверх-Я противопоставляют себя Я, тогда как позднее окрепшее Я может проявлять большую устойчивость к таким влияниям, обусловленным идентификациями. Сверх-Я обязано своим особым положением в Я (или по отношению к Я) — моменту, который следует оценить с двух сторон; во-первых, это первая идентификация, которая произошла, пока Я еще было слабым, во-вторых, Сверх-Я оно является наследником эдипова комплекса и, следовательно, ввело в Я самые величественные объекты. К более поздним изменениям Я оно в известной мере относится так, как первичная сексуальная фаза детства — к дальнейшей сексуальной жизни после пубертата. Будучи доступным всем более поздним влияниям, Сверх-Я тем не менее на протяжении всей жизни сохраняет характер, полученный вследствие своего происхождения от отцовского комплекса, то есть способность противопоставлять себя Я и справляться с ним. Сверх-Я — это памятник былой слабости и зависимости Я, и оно продолжает властвовать также над зрелым Я. Подобно тому, как ребенок был вынужден повиноваться своим родителям, точно так же Я подчиняется категорическому императиву своего Сверх-Я.

Однако происхождение от первых объектных катексисов Оно и, следовательно, от эдипова комплекса означает для Сверх-Я еще нечто большее. Это происхождение, как мы уже отмечали, связывает Сверх-Я с филогенетическими приобретениями Оно и делает его новым воплощением прежних образований Я, оставивших свой след в Оно. Таким образом, Сверх-Я всегда находится рядом с Оно и в отношении Я может быть его представителем. Сверх-Я глубоко погружено в Оно, но зато больше отдалено от сознания, нежели Я[1].

---

[1] Можно сказать, что психоаналитическое или метапсихологическое Я тоже стоит на голове, как и анатомическое, то есть как «мозговой человечек».

Эти отношения мы оценим лучше всего, обратившись к известным клиническим фактам, которые давно уже не представляют собой ничего нового, но по-прежнему ждут своей теоретической разработки.

Есть люди, которые ведут себя во время аналитической работы весьма необычно. Если их обнадежить и выразить удовлетворение ходом лечения, они кажутся недовольными, а их самочувствие, как правило, ухудшается. Вначале это можно принять за упрямство и старание доказать врачу свое превосходство. Позднее приходишь к более глубокому и более верному пониманию. Убеждаешься не только в том, что эти люди не выносят похвалы и признания, но и в том, что на успехи лечения они реагируют превратно. Любое частичное решение проблемы, следствием которого должно было быть улучшение или временное исчезновение симптомов (а у других людей так и происходит), вызывает у них немедленное усиление недуга, их состояние во время лечения ухудшается, вместо того чтобы улучшиться,. Они проявляют так называемую *негативную терапевтическую реакцию*.

Нет сомнения, что что-то в них сопротивляется выздоровлению, что его приближения боятся как некой опасности. Говорят, что у этих людей берет верх не воля к выздоровлению, а потребность в болезни. Если проанализировать это сопротивление обычным образом, исключить из него желание поступать наперекор врачу и фиксацию на выгодах от болезни, то все же очень многое еще остается, и это оказывается сильнейшим препятствием для выздоровления, более сильным, чем уже известная нам нарциссическая недоступность, негативное отношение к врачу или застревание на выгодах от болезни.

В конце концов приходишь к пониманию, что речь идет, так сказать, о «моральном» факторе, о чувстве вины, которое находит свое удовлетворение в болезненном состоянии и не желает отказаться от наказания в виде страдания. На этом малоутешительном объяснении можно окончательно остановиться. Но это чувство вины у больного безмолвствует, оно не говорит ему, что он виновен, он чувствует себя не виноватым, а больным. Это чувство вины выражается лишь в виде с трудом уменьшаемого сопротивления исцелению. Кроме того, особенно трудно убедить больного, что это и есть мотив его застревания в болезни; он будет придерживаться более по-

нятного объяснения, что аналитическое лечение — неподходящее средство и не может ему помочь[1].

То, что здесь было описано, соответствует самым крайним проявлениям, но в меньшем масштабе может приниматься в расчет в отношении очень многих, возможно, всех более тяжелых случаев невроза. Более того, возможно, именно этот фактор — поведение Я-идеала — решающим образом определяет тяжесть невротического заболевания. Поэтому мы не хотели бы уклоняться от некоторых других замечаний о проявлении чувства вины в различных условиях.

Нормальное, осознанное чувство вины (совесть) не представляет для толкования никаких затруднений; оно основано на напряжении между Я и Я-идеалом, является выражением осуждения Я со стороны его критической инстанции. Пожалуй, недалеки от этого и известные чувства неполноценности у невротика. В двух хорошо знакомых нам формах патологии чувство вины сознается чересчур интенсивно; Я-идеал прояв-

[1] Аналитику нелегко бороться с таким препятствием, как бессознательное чувство вины. Напрямую с ним ничего поделать нельзя, а косвенно — остается только постепенно раскрывать больному его бессознательно вытесненные обоснования, причем оно постепенно превращается в сознательное чувство вины. Особый шанс оказать влияние возникает, если это *Бсз* чувство вины *заимствовано,* то есть является результатом идентификации с другим человеком, который когда-то был объектом эротического катексиса. Такое принятие на себя чувства вины часто бывает единственным, едва заметным остатком утраченных любовных отношений. Сходство с процессом, характерным для меланхолии, здесь очевидно. Если удастся раскрыть за *Бсз* чувством вины этот прошлый объектный катексис, то зачастую терапевтическая задача оказывается блестяще разрешена, в противном случае исход терапевтических усилий отнюдь не гарантирован. В первую очередь он зависит от интенсивности чувства вины, которой терапия нередко не может противопоставить равную по величине противоположную силу. Возможно, также и от того, допустит ли аналитик, чтобы больной поставил его на место своего Я-идеала, с чем связано искушение играть в отношении больного роль пророка, спасителя души, избавителя. Поскольку правила анализа решительно противятся такому использованию личности врача, надо честно признаться, что здесь возникает новое ограничение воздействию анализа, который не делает болезненные реакции невозможными, а должен предоставить Я больного *свободу* принимать те или иные решения. Фрейд возвращается к этой теме в своей работе «Экономическая проблема мазохизма» (1924), с. 349–350 в этом томе, где он рассматривает различие между бессознательным чувством вины и моральным мазохизмом. См. также главы 7 и 8 очерка «Неудовлетворенность культурой» (1930).

ляет в них особую строгость и зачастую проявляет ярость и жестокость по отношению к Я. Наряду с этим сходством обоих состояний — невроза навязчивости и меланхолии — в поведении Я-идеала существуют не менее важные различия.

При неврозе навязчивости (определенных его формах) чувство вины становится очень назойливым, но перед Я оправдаться не может. Поэтому Я больного сопротивляется предположению, что оно в чем-то виновно, и требует от врача, чтобы тот укрепил его в отвержении этого чувства вины. Было бы неблагоразумно пойти у него на поводу, ибо это было бы безрезультатным. Далее, анализ показывает, что на Сверх-Я оказывают влияние процессы, которые остались для Я неизвестными. И в самом деле можно обнаружить вытесненные импульсы, на которых основывается чувство вины. Сверх-Я знало здесь о бессознательном Оно больше, чем Я.

Еще более сильное впечатление о том, что Сверх-Я овладело сознанием, создается при меланхолии. Но здесь Я не осмеливается возражать, оно признает себя виновным и подчиняется наказаниям. Мы понимаем это различие. При неврозе навязчивости речь шла о предосудительных импульсах, которые остались вне Я; при меланхолии же объект, к которому относится гнев Сверх-Я, был принят в Я посредством идентификации.

То, что при этих двух невротических заболеваниях чувство вины достигает такой исключительной силы, далеко не так очевидно, но главная проблема такой ситуации все же в другом. Мы отложим ее обсуждение, пока не разберем другие случаи, в которых чувство вины остается бессознательным.

Его все же можно найти в основном при истерии и состояниях истерического типа. О механизме продолжающейся бессознательности здесь легко догадаться. Истерическое Я защищается от неприятного восприятия, грозящего ему со стороны критического Сверх-Я, тем же способом, каким оно привыкло защищаться от невыносимого для него объектного катексиса, то есть путем вытеснения. Следовательно, причина того, что чувство вины остается бессознательным, заключается в Я. Мы знаем, что, как правило, Я совершает вытеснения по заданию и поручению своего Сверх-Я; но в данном случае Я пользуется тем же оружием против своего сурового хозяина. Как известно, при неврозе навязчивости преоблада-

ют феномены реактивного образования; здесь [при истерии] Я удается лишь держать на расстоянии материал, к которому относится чувство вины.

Можно пойти дальше и отважиться сделать предположение, что большая часть чувства вины обычно должна быть бессознательной, поскольку возникновение совести тесно связано с эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если бы кто-нибудь захотел выступить в защиту того парадоксального тезиса, что нормальный человек не только гораздо аморальнее, чем полагает, но и гораздо более моральный, чем знает, то психоанализ, на данных которого основана первая половина этого утверждения, не возражает и против второй половины[1].

Для нас было неожиданностью обнаружить, что усиление этого *Бсз* чувства вины может сделать человека преступником. Но это, без сомнения, именно так. У многих, особенно юных преступников, можно установить наличие сильнейшего чувства вины, которое существовало до преступления, то есть было не его следствием, а мотивом, словно, если бы удалось связать это бессознательное чувство вины с чем-то реальным и актуальным, это ощущалось бы как облегчение[2].

Во всех этих отношениях Сверх-Я проявляет свою независимость от сознательного Я и свою тесную связь с бессознательным Оно. Теперь, с учетом того значения, которое мы придаем предсознательным остаткам слов в Я, возникает вопрос: не состоит ли Сверх-Я, если оно *Бсз*, из таких словесных представлений, или из чего оно состоит в противном случае? Скромным ответом будет утверждение, что Сверх-Я также не может отрицать своего происхождения из услышанного, ведь оно — часть Я и остается доступным сознанию благодаря этим словесным представлениям (понятиям, абстракциям), но *катектическая энергия* поставляется этим содержаниям Сверх-Я не из слухового восприятия, обучения, чтения, а из источников в Оно.

---

[1] Этот тезис только кажется парадоксом; он означает всего лишь, что природа человека как в добре, так и во зле выходит далеко за пределы того, что он про себя думает, то есть того, что известно его Я благодаря сознательному восприятию.

[2] Эта проблема (наряду с другими указаниями) подробно обсуждается в части III статьи Фрейда «Некоторые типы характера из психоаналитической практики».

Вопрос, ответ на который мы отложили, звучит так: как получается, что Сверх-Я проявляется в основном в виде чувства вины (точнее: в виде критики; чувство вины — это восприятие в Я, соответствующее этой критике) и при этом проявляет в отношении Я такую чрезвычайную суровость и строгость? Если мы обратимся сначала к меланхолии, то обнаружим, что необычайно сильное Сверх-Я, захватившее сознание, свирепо и с такой беспощадной яростью набрасывается на Я, как будто овладело всем имеющимся у индивида садизмом. В соответствии с нашим пониманием садизма мы бы сказали, что в Сверх-Я отложился и обратился против Я деструктивный компонент. То, что теперь господствует в Сверх-Я, является, так сказать, чистой культурой влечения к смерти, и ему в самом деле часто удается довести Я до смерти, если только до этого оно не защитилось от своего тирана, превратившись в манию.

Точно так же болезненны и мучительны упреки совести при определенных формах невроза навязчивости, но ситуация здесь менее очевидна. Необходимо отметить, что в противоположность меланхолии больной неврозом навязчивости, в сущности, никогда не совершит шаг к самоубийству, он, так сказать, невосприимчив к опасности самоубийства, гораздо лучше от нее защищен, чем истерик. Мы понимаем, что именно сохранение объекта гарантирует безопасность Я. При неврозе навязчивости в результате регрессии к догенитальной организации стало возможным превращение любовных импульсов в агрессивные импульсы, направленные против объекта. Здесь опять-таки деструктивное влечение освободилось и хочет уничтожить объект, или по крайней мере кажется, что такое намерение существует. Я этих тенденций не приняло, оно сопротивляется им с помощью реактивных образований и мер предосторожности; они остаются в Оно. Но Сверх-Я ведет себя так, словно за них ответственно Я, и вместе с тем показывает нам с той серьезностью, с которой оно преследует эти разрушительные намерения, что речь идет не о видимости, вызванной регрессией, а о самой настоящей замене любви ненавистью. Неспособное противостоять тому и другому, Я тщетно защищается от требований смертоносного Оно, равно как и от упреков карающей совести. Ему едва-едва удается сдержать только самые грубые действия того и другого, итогом становится сначала бесконечное самоистязание, а в ходе

дальнейшего развития — систематическое мучение объекта, где это доступно.

Опасные влечения к смерти подвергаются индивидом обработке разным способом, частично обезвреживаются посредством смешения с эротическими компонентами, частично отводятся вовне в форме агрессии, но большей частью они, разумеется, беспрепятственно продолжают свою внутреннюю работу. Но как получается, что при меланхолии Сверх-Я может стать своего рода местом скопления влечений к смерти?

С точки зрения ограничения влечений, то есть морали, можно сказать: Оно полностью аморально, Я старается быть моральным, Сверх-Я может стать гиперморальным и в таком случае столь жестоким, каким может быть только Оно. Примечательно, что чем больше человек ограничивает свою агрессию, направленную вовне, тем строже, то есть агрессивнее, он становится в своем Я-идеале. При обычном рассмотрении кажется, что дело обстоит наоборот — в требованиях Я-идеала можно увидеть мотив для подавления агрессии. Но факт остается таким, каким мы его выразили: чем больше человек овладевает своей агрессией, тем больше усиливается склонность его идеала к агрессии против его Я[1]. Это похоже на смещение, обращение против собственного Я. Уже всеобщая, обычная мораль носит характер чего-то жестко ограничивающего, строго воспрещающего. Отсюда и проистекает концепция неумолимо карающего высшего существа.

Теперь я не могу далее разъяснять эти отношения, не введя нового предположения. Ведь Сверх-Я возникло благодаря идентификации с образом отца. Каждая такая идентификация носит характер десексуализации или даже сублимации. Похоже, что при таком превращении происходит также и расслоение влечений. После сублимации эротический компонент уже не обладает энергией, чтобы связать всю добавившуюся деструкцию, и он высвобождается в виде склонности к агрессии и разрушению. Можно сказать, что в результате этого расслоения идеал вообще приобретает такую черту, как строгость и суровость повелительного долженствования.

Остановимся еще немного на неврозе навязчивости. Здесь отношения иные. Расслоение любви, приведшее к агрессии,

[1] Об этом парадоксе Фрейд снова высказался в работе «Экономическая проблема мазохизма» (1924), еще более подробно он рассмотрел этот вопрос в главе 6 очерка «Неудовлетворенность культурой» (1930).

возникло не благодаря работе, произведенной Я, а представляет собой следствие регрессии, произошедшей в Оно. Однако этот процесс распространился с Оно на Сверх-Я, которое теперь усиливает свою строгость по отношению к невинному Я. Однако в обоих случаях Я, овладевшее либидо благодаря идентификации, терпит за это наказание со стороны Сверх-Я в виде примешанной к либидо агрессии.

Наши представления о Я начинают проясняться, а его различные отношения приобретать четкость. Теперь мы видим Я в его силе и в его слабостях. Ему поручены важные функции; в силу своих отношений с системой восприятия оно устанавливает временную последовательность душевных процессов и подвергает их проверке на реальность[1]. Благодаря включению мыслительных процессов Я отсрочивает моторную разрядку и владеет доступами к подвижности[2]. Правда, последнее влияние имеет, скорее, формальный, чем фактический характер; можно сказать, что Я в отношении действия играет роль конституционного монарха, без санкции которого ничто не может стать законом, но который сорок раз подумает, прежде чем наложить вето на предложение парламента. Я обогащается благодаря всему жизненному опыту, полученному извне; Оно же является его другим внешним миром, который Я стремится подчинить себе. Я отнимает либидо у Оно, превращает объектные катексисы Оно в образования Я. С помощью Сверх-Я оно непонятным пока еще для нас образом черпает силы из накопившегося в Оно опыта древности.

Существуют два пути, по которым содержание Оно может проникнуть в Я. Один из них прямой, другой ведет через Я-идеал, и наверное, для некоторых видов психической деятельности может оказаться решающим то, по какому из двух путей они последуют. Я развивается от восприятия влечений к овладению ими, от повиновения влечениям к торможению влечений. В этой работе активное участие принимает Я-идеал, который отчасти представляет собой реактивное образование против процессов влечений Оно. Психоанализ — это инструмент, который должен способствовать Я в поступательном завоевании Оно.

---

[1] Ср. «Бессознательное» (1915).

[2] Ср. «Положения о двух принципах психического события» (1911) и «Отрицание» (1925).

Но, с другой стороны, мы видим это же Я как несчастное существо, находящееся в тройном подчинении и поэтому страдающее от тройной опасности — со стороны внешнего мира, либидо Оно и строгости Сверх-Я. Три рода страха соответствуют этим трем опасностям, ибо страх есть выражение отступления перед опасностью. В качестве пограничного существа Я хочет посредничать между миром и Оно, сделать Оно послушным миру, а своими мышечными действиями сделать так, чтобы мир воздал должное желаниям Оно. В сущности, Я ведет себя, как врач в процессе аналитического лечения — считаясь с реальным миром, Я предлагает себя Оно в качестве объекта либидо и хочет направить на себя его либидо. Я не только помощник Оно, но и его покорный слуга, добивающийся любви своего господина. По возможности Я старается оставаться в согласии с Оно, покрывает его *Бсз* повеления своими *Псз* рационализациями, изображает видимость повиновения Оно требованиям реальности, даже если Оно осталось жестким и неуступчивым, пытается замять конфликты Оно с реальностью и по возможности со Сверх-Я. Я из-за своего положения посередине между Оно и реальностью слишком часто поддается искушению быть угодливым, оппортунистическим и лживым, примерно как государственный муж, который при всем своем благоразумии хочет заслужить благосклонность общественного мнения.

Между двумя видами влечений Я не ведет себя беспристрастно. Своей работой идентификации и сублимации оно помогает влечениям к смерти в Оно преодолеть либидо, рискуя при этом само стать объектом влечений к смерти и погибнуть. В целях оказания помощи Я само должно было наполниться либидо, благодаря этому само становится представителем эроса и теперь хочет жить и быть любимым.

Но поскольку вследствие его сублимирующей работы появляется расслоение влечений и освобождаются агрессивные влечения в Сверх-Я, своей борьбой против либидо оно подвергает себя опасности жестокого обращения и смерти. Если Я страдает или даже гибнет от агрессии Сверх-Я, то его судьба подобна судьбе протистов, погибающих от продуктов разложения, которые они сами создали[1]. Таким продуктом

[1] Эти микроскопически маленькие организмы Фрейд упоминает в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Сегодня, наверное, вместо «протистов» сказали бы «простейшие».

разложения в экономическом смысле нам кажется действующая в Сверх-Я мораль.

Среди зависимостей Я самая интересная, пожалуй, — это зависимость от Сверх-Я.

Ведь Я представляет собой самый настоящий очаг страха[1]. Подвергаясь тройной опасности, Я вырабатывает рефлекс бегства; при этом Я убирает свой собственный катексис от восприятия угрозы или от оцениваемого так же процесса в Оно и расходует его в виде страха. Позднее эта примитивная реакция сменяется возведением защитных катексисов (механизм фобий). Нельзя указать, что именно пугает Я во внешней опасности или опасности, исходящей от либидо в Оно; мы знаем, что это или поражение, или уничтожение, но выяснить аналитически этого нельзя[2]. Я просто следует предостережению принципа удовольствия. И наоборот, можно сказать, что скрывается за страхом Я перед Сверх-Я, за страхом совести. От высшего существа, ставшего Я-идеалом, когда-то исходила угроза кастрации, и этот страх кастрации и есть, вероятно, то ядро, вокруг которого скапливается страх совести, именно страх кастрации продолжается в виде страха совести.

Звучная фраза: «Любой страх — это, в сущности, страх смерти», — едва ли имеет смысл; во всяком случае, ее нельзя обосновать[3]. Скорее, мне кажется правильным отделить страх смерти от страха объекта (реальности) и от невротического страха либидо. Он ставит перед психоанализом сложную проблему, ибо смерть — это абстрактное понятие негативного содержания, для которого нельзя найти соответствия в бессознательном. Механизм страха смерти может состоять только в том, что Я в значительной степени избавляется от своего нарциссического либидинозного катексиса, то есть отказы-

[1] Все, что в дальнейшем говорится по теме страха, следует понимать с учетом пересмотренных Фрейдом представлений, которые изложены в работе «Торможение, симптом и страх» (1926); в ней продолжено рассмотрение большинства затронутых здесь вопросов.

[2] Представление о «поражении» Я встречается уже в ранних сочинениях Фрейда. См., например, упоминание в части II его первой работы, посвященной защитным невропсихозам (1894). Оно также играет важную роль в его рассмотрении механизма неврозов в рукописи К от 1 января 1896 года из переписки с Флиссом (Freud, 1950). Здесь есть явная взаимосвязь с «травматической ситуацией», описанной в работе «Торможение, симптом и страх» (1926).

[3] Ср. *Stekel*, 1908, 5.

вается от самого себя, как обычно отказывается от другого объекта в случае страха. Я думаю, что страх смерти разыгрывается между Я и Сверх-Я.

Нам знакомо появление страха смерти при двух условиях, которые, впрочем, вполне аналогичны условиям развития других форм страха: как реакция на внешнюю опасность и как внутренний процесс, например, при меланхолии. Возможно, невротический случай снова поможет нам понять случай реальный.

Страх смерти при меланхолии допускает лишь одно объяснение: Я отказывается от самого себя, так как чувствует, что Сверх-Я его ненавидит и преследует вместо того, чтобы любить. Следовательно, жить для Я равносильно быть любимым, быть любимым со стороны Сверх-Я, которое также и здесь выступает представителем Оно. Сверх-Я выполняет ту же функцию защиты и спасения, как раньше отец, а позднее — провидение или судьба. Но тот же вывод должно сделать и Я, когда находится в огромной реальной опасности, преодолеть которую собственными силами ему кажется невозможным. Я видит, что все охраняющие силы его покинули, и позволяет себе умереть. Впрочем, это по-прежнему та же ситуация, которая лежала в основе первого великого страха рождения[1] и детского страха-тоски — страха разлуки с защищающей матерью[2].

Таким образом, на основе этих рассуждений страх смерти, как и страх совести, можно понимать как переработку страха кастрации. Ввиду большого значения чувства вины для возникновения неврозов нельзя также отвергать, что в тяжелых случаях обычный невротический страх усиливается вследствие развития страха между Я и Сверх-Я (страха кастрации, страха совести, страха смерти).

У Оно, к которому мы в заключение возвращаемся, нет средств доказать Я любовь или ненависть. Оно не может сказать, чего хочет; у него не возникло единой воли. В нем борются эрос и влечение к смерти; мы слышали, какими средствами одни влечения защищаются от других. Мы могли бы изобразить это так, как будто Я находится во власти безмолвных, но могущественных влечений к смерти, которые пребывают в покое и по

[1] О происхождении этой идеи см. «Предварительные замечания издателей» к работе «Торможение, симптом и страх» (1926).

[2] Здесь вводится понятие страха разлуки, которое обсуждается в работе «Торможение, симптом и страх».

знакам, подаваемым принципом удовольствия, пытаются утихомирить возмутителя спокойствия — эрос; но мы опасаемся, что при этом роль эроса мы все же недооцениваем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАТЕЛЬНОЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Из двух предложений на с. 132 и 133 выше у читателя может возникнуть недопонимание. На эту возможность обратил внимание Джеймс Стрейчи благодаря личному сообщению Эрнеста Джонса, который просматривал переписку Фрейда. 28 октября 1923 года, через несколько месяцев после появления данного труда, Шандор Ференци писал Фрейду: «...Все же я позволю себе один вопрос... так как без Вашего ответа мне не понять один пункт Вашего “Я и Оно”... На с. 13[1] утверждается следующее: “...в описательном значении существуют два вида бессознательного, а в динамическом — только один”. Но так как на с. 12 Вы пишете, что латентное бессознательное является бессознательным лишь описательно, но не в динамическом значении, я подумал, что как раз динамический способ рассмотрения требует выделения двух видов *Бсз*, тогда как описание знает только *Сз* и *Бсз*».

Если посмотреть внимательно, то два этих высказывания все же не противоречат друг другу: тот факт, что латентное бессознательное является бессознательным лишь в описательном смысле, отнюдь не означает, что только оно представляет собой единственный вид бессознательного в описательном смысле. В 31-й лекции «Нового цикла» (1933) есть отрывок, написанный Фрейдом примерно через десять лет после настоящего сочинения, в котором вся эта аргументация повторяется в очень похожих выражениях. В нем не раз поясняется, что в описательном смысле бессознательным являются как предсознательное, так и вытесненное, но что в динамическом смысле термин «бессознательное» ограничен вытесненным .

Впрочем, в более поздних изданиях своего труда Фрейд не изменил пассаж, предложенный Ференци для обсуждения. Детали из соответствующей переписки между Фрейдом и Ференци, а также подробную аргументацию Джеймса Стрейчи читатель найдет в «Стандартном издании», т. 19, 60–62.

[1] Первого немецкого издания. В настоящем издании оба предложения находятся на с. 132 и 133 соответственно.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОГРОМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ЛИБИДО

С этим вопросом, который упоминается в первом примечании на с. 147 и более подробно обсуждается на с. 161–162, связано одно серьезное затруднение.

По-видимому, образ «огромного резервуара» впервые встречается в разделе, добавленном Фрейдом к третьему изданию своих «Трех очерков»(1905), которое было подготовлено осенью 1914 года, но опубликовано только в 1915 году. Этот пассаж звучит следующим образом: «Нарциссическое либидо, или либидо Я, предстает перед нами как огромный резервуар, из которого посылаются объектные катексисы и в который они снова втягиваются, как нарциссический либидинозный катексис Я в виде первичного состояния, реализованного в раннем детстве, которое лишь прикрывается более поздними излучениями либидо, но, в сущности, сохраняется позади них» (*Studienausgabe*, т. 5, с. 122).

Однако это же представление Фрейд уже выразил раньше с помощью другого, особенно охотно употреблявшегося им сравнения, которое иногда используется попеременно, а иногда одновременно с «огромным резервуаром»[1]. Этот более ранний пассаж встречается в работе о нарцизме (1914), то есть появился в начале того же 1914 года: «Таким образом, мы создаем представление об исходном либидинозном катексисе Я, который затем передается объектам. Но, в сущности, он сохраняется и относится к объектным катексисам как тело протоплазматического организма к выпущенным им псевдоподиям».

Оба эти сравнения встречаются вместе в научно-популярной статье («Трудность психоанализа», 1917, первая половина работы), написанной в конце 1916 года для одного венгерского журнала: «Я — это огромный резервуар, из которого изливается предназначенное для объектов либидо и в который оно снова поступает от объектов... Чтобы сделать наглядными эти отношения, вспомним о протоплазматическом организме, вязкую субстанцию которого испускают псевдоподии (ложноножки)...»

[1] В рудиментарной форме это сравнение появляется уже в третьей статье сочинения «Тотем и табу», которое было опубликовано в начале 1913 года.

Протоплазматический организм снова упоминается в 1917 году, в 26-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917), образ резервуара — в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920): «Психоаналитики пришли к выводу, что Я — это истинный и изначальный резервуар либидо, которое затем распространяется из него на объект».

Очень похожий пассаж Фрейд включил в энциклопедическую статью, написанную им летом 1922 года (1923, в разделе «Нарцизм» во второй части). Несколько позже было введено понятие «Оно» и произведена внешне радикальная корректировка прежних высказываний. «Теперь, после отделения Я от Оно, огромным резервуаром либидо… следует признать Оно», и далее: «В самом начале все либидо скопилось в Оно, тогда как Я пока еще лишь формируется или слабо. Часть либидо Оно испускает на эротические объектные катексисы, после чего усилившееся Я пытается овладеть этой частью либидо и навязать себя Оно в качестве объекта любви. Таким образом, нарцизм Я является вторичным, лишенным объектов».

Эта новая позиция кажется совершенно понятной и поэтому приводит в некоторое замешательство, когда в «Автобиографии» (1925 [1924], вторая половина раздела V) наталкиваешься на следующее предложение, написанное всего лишь около года спустя: «...на всю жизнь Я остается огромным резервуаром либидо, из которого посылаются объектные катексисы, в которое либидо может снова вернуться от объектов»[1].

Хотя эта фраза появляется в контексте исторического ретроспективного взгляда на развитие психоаналитической теории, тем не менее Фрейд не указывает на корректировку своих представлений в работе «Я и Оно». И наконец, мы встречаем такой же пассаж в одной из последних работ Фрейда, в главе 2 написанного в 1938 году «Очерка психоанализа» (1940): «Трудно что-либо сказать о поведении либидо в Оно и в Сверх-Я. Все, что мы об этом знаем, относится к Я, в котором изначально скопилась вся сумма имеющегося в распоряжении либидо. Мы называем это состояние абсолютным первичным *нарцизмом*. Он сохраняется до тех пор, пока Я не

[1] Почти такое же высказывание встречается в 32-й лекции «Нового цикла» (1933), *Studienausgabe*, т. 1, с. 536.

начинает вкладывать в представления об объектах энергию либидо , преобразовывать нарциссическое либидо в объектное. На протяжении всей жизни Я остается огромным резервуаром, из которого либидинозные катексисы отсылаются к объектам и в который они снова возвращаются подобно тому, как ведет себя протоплазматическое тело с его псевдоподиями».

Свидетельствуют ли эти более поздние пассажи о том, что Фрейд снова отверг представления, сформулированные в настоящей работе? Это трудно себе представить, и существуют два момента, которые, пожалуй, могли бы способствовать примирению двух этих внешне противоречащих друг другу высказываний. Первый из них не столь важен. Сравнение с «резервуаром» само по себе неоднозначно: резервуар можно понимать как цистерну для воды или как источник водоснабжения. Не составляет большого труда использовать образ резервуара в двояком значении — как в отношении Я, так и в отношении Оно, и приведенные пассажи уточняют, какой именно образ имел в виду Фрейд.

Второй момент более важен. В «Новом цикле лекций», всего через несколько страниц после пассажа, на который ссылается наше примечание на с. 170, Фрейд в связи с обсуждением мазохизма пишет: «Если также и в отношении деструктивного влечения справедливо, что Я (но мы здесь, скорее, имеем в виду Оно, всего человека) первоначально заключает в себе все импульсы влечения...»

Конечно, часть предложения, заключенная в скобки, указывает на первоначальное состояние, в котором Оно и Я пока еще не дифференцированы[1]. В «Очерке» есть похожее, еще более определенное замечание, а именно за два абзаца до процитированного места: «Мы представляем себе исходное состояние так, что вся имеющаяся в распоряжении энергия эроса, которую мы отныне будем называть *либидо*, находится в пока еще недифференцированном Я-Оно...» Если мы понимаем это как суть теории Фрейда, то тогда кажущееся противоречие его высказываний исчезает. Это «Я-Оно» первоначально является «огромным резервуаром либидо» в значении цистерны. Даже тогда, когда произошла дифференциация, Оно продолжает оставаться цистерной; но как только оно на-

[1] Это точка зрения, которую Фрейд постоянно отстаивал.

чинает посылать катексисы (объектам или выкристаллизовавшемуся теперь Я), оно, кроме того, работает также как источник обеспечения. То же самое относится и к Я, ибо оно представляет собой цистерну для нарциссического либидо, а также в некотором смысле источник обеспечения для объектных катексисов.

Между тем эта последняя точка зрения поднимает следующий вопрос, в отношении которого Фрейд в разное время, очевидно, занимал разную позицию. В работе «Я и Оно» говорится: «В самом начале все либидо скапливается в Оно»; затем: «Часть либидо Оно испускает на эротические объектные катексисы, после чего усилившееся Я пытается овладеть этой частью либидо и навязать себя Оно в качестве объекта любви. Таким образом, нарцизм Я является вторичным...» Однако в «Очерке» утверждается, что именно в Я «изначально скопилась вся сумма имеющегося в распоряжении либидо. Мы называем это состояние абсолютным первичным *нарцизмом*». И далее: «Он сохраняется до тех пор, пока Я не начинает вкладывать в представления об объектах энергию либидо...» В этих двух формулировках рассматриваются, несомненно, два разных процесса. В первом объектные катексисы изображаются как исходящие непосредственно от Оно и достигающие Я лишь косвенно; во втором все либидо должно поступать от Оно к Я и лишь косвенно достигать объектов. Два эти процесса не кажутся несовместимыми; по крайней мере можно себе представить, что встречаются оба; однако по этому поводу Фрейд ничего не говорит.

О ВВЕДЕНИИ ПОНЯТИЯ «НАРЦИЗМ» (1914)

1

Термин «нарцизм» происходит из клинического описания; в 1899 году он был выбран П. Некке[1] для обозначения такого поведения, при котором индивид обращается с собственным телом как с сексуальным объектом, то есть рассматривает его с сексуальным вожделением, поглаживает, ласкает до тех пор, пока благодаря таким действиям не достигает полного удовлетворения. В этой форме нарцизм имеет значение перверсии, поглотившей всю сексуальную жизнь человека, и поэтому к нему относятся также те ожидания, с которыми мы обычно приступаем к изучению всех перверсий.

Затем в ходе психоаналитических наблюдений обратил на себя внимание тот факт, что отдельные черты нарциссического поведения обнаруживаются у многих людей, страдающих другими расстройствами, например, согласно Задгеру, у гомосексуалистов; в конце концов возникло предположение, что распределение либидо, обозначаемое как нарцизм, наблюдается в гораздо большем объеме и что, возможно, оно занимает определенное место в обычном сексуальном развитии человека[2]. К такому же предположению приходишь в связи с трудностями, возникающими во время

---

[1] В одном из добавленных в 1920 году примечаний к «Трем очеркам» (1905) Фрейд указывает, что в представленной здесь работе ошибочно назвал Некке создателем термина «нарцизм» и что, скорее, его авторство можно приписать Хэвлоку Эллису. Однако позднее сам Эллис в небольшой статье (1927) уточняет поправку Фрейда: на самом деле приоритет принадлежит им обоим — ему и Некке; им, Эллисом, выражение *«narcissus-like»* использовалось в 1898 году для описания определенной психической установки, тогда как Некке в 1899 году использовал термин «Narcismus» для описания сексуальной перверсии. В работе, посвященной случаю Шребера (1911), Фрейд объясняет свой выбор слова «нарцизм» вместо, возможно, более корректного, но менее благозвучного «нарциссизм».

[2] О. Ранк (1911).

психоаналитической работы с невротиками, ибо складывается впечатление, что такое нарциссическое поведение создает одно из препятствий для возможности влиять на них. Нарцизм в этом смысле можно считать не перверсией, а либидинозным дополнением к эгоизму влечения к самосохранению, известную долю которого по праву приписывают каждому живому существу.

Настоятельная потребность заняться вопросом о первичном и нормальном нарцизме появилась после того, как была предпринята попытка соотнести представления о dementia praecox (Крепелин), или шизофрении (Блейлер), с положениями теории либидо. У больных, которых я предложил назвать парафрениками[1], проявляются две фундаментальные особенности: мания величия и потеря интереса к внешнему миру (к людям и вещам). Вследствие последнего из названных изменений на них невозможно повлиять с помощью психоанализа, и наши старания не помогают им исцелиться. Однако отстранение парафреника от внешнего мира требует более точного обозначения. Истерик и человек, страдающий неврозом навязчивых состояний, в зависимости от тяжести своей болезни также утрачивают связь с реальностью. Однако анализ показывает, что эротическое отношение к людям и вещам у них отнюдь не исчезло. Оно сохраняется у них в фантазии, то есть, с одной стороны, они заменяют реальные объекты воображаемыми, взятыми из воспоминаний, или смешивают их; с другой стороны, они отказываются совершать моторные действия для достижения своих целей, касающихся этих объектов. Только к этому состоянию либидо следует отнести выражение «*интроверсия* либидо», которое Юнг употребляет без каких-либо отличий[2]. Иначе обстоит дело у парафреника. По всей видимости, он действительно отдалил свое либидо от людей и предметов внешнего мира, не заменив их другими в своей фантазии. Там, где затем такая замена происходит, она кажется чем-то вторичным и относящимся к попытке исцеления, благодаря которой либидо должно вернуться к объекту[3].

[1] Об употреблении Фрейдом этого термина см. примечание издателей в конце III раздела анализа случая Шребера (1911).

[2] Ср. примечание в начале работы «О динамике переноса» (1912).

[3] Ср. в этой связи дискуссию о «конце света» в анализе председателя судебной коллегии Шребера (1911 [*Studienausgabe*, т. 7, с. 191–195]).

Возникает вопрос: какова дальнейшая судьба либидо, лишенного объектов, при шизофрении? Здесь путь нам указывает мания величия при таких состояниях. Вероятно, она возникла за счет объектного либидо. Либидо, лишенное внешнего мира, стало обращенным на Я, в результате чего возникло поведение, которое мы можем назвать нарцизмом. Но сама мания величия — это не новое образование, а, как мы знаем, усиление и проявление состояния, которое уже существовало раньше. Тем самым мы приходим к пониманию нарцизма, существующего благодаря привлечению объектных катексисов, как вторичного, надстраивающегося над первичным, который завуалирован разного рода влияниями.

Отмечу еще раз, что не хочу здесь разъяснять или углублять проблему шизофрении — я просто подытоживаю то, что уже было сказано в других работах, чтобы обосновать введение понятия нарцизма.

Третий источник такого, как мне кажется, законного развития теории либидо — это наши наблюдения за душевной жизнью детей и примитивных народов. У последних мы обнаруживаем черты, которые, будь они единичными, можно было отнести к мании величия: переоценку силы своих желаний и психических актов, «всемогущество мыслей», веру в волшебную силу слов, приемы воздействия на внешний мир, «магию», которая предстает как последовательное использование этих напоминающих манию величия предпосылок[1]. Совершенно аналогичное отношение к внешнему миру мы ожидаем встретить и у современного ребенка, развитие которого нам гораздо менее ясно[2]. Таким образом, мы создаем представление об исходном либидинозном катексисе Я, который затем передается объектам. Но, в сущности, он сохраняется и относится к объектным катексисам как тело протоплазматического организма к выпущенным им псевдоподиям[3]. В нашем исследовании, исходившем из невротических симптомов, эта часть рас-

[1] См. соответствующие разделы в книге «Тотем и табу» (1912–1913).

[2] См. Ferenczi, 1913.

[3] Это и подобные сравнения Фрейд также использовал позднее во многих местах, например, в 26-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917). — Некоторые из вышеизложенных представлений Фрейд в дальнейшем скорректировал. См. заключительную часть «Предварительных замечаний издателей».

пределения либидо вначале оставалась скрытой. Нам бросались в глаза лишь эманации этого либидо, объектные катексисы, которые могут посылаться и снова отводиться обратно. В общем-то мы видим также противоречие между либидо Я и объектным либидо[1]. Чем больше потребляется одно, тем больше скудеет другое. Высшей фазой развития, до которой доходит последнее, нам представляется состояние влюбленности, которое, по нашему мнению, представляет собой отказ от собственной личности в пользу объектного катексиса и находит свою противоположность в фантазии (или самовосприятии) параноиков о конце света[2]. И наконец, относительно разделения психических энергий мы заключаем, что вначале, в состоянии нарцизма, они слиты и не различимы для нашего предварительного анализа; и только с катексисом объекта появляется возможность отделить сексуальную энергию, либидо, от энергии влечений Я[3].

Прежде чем продолжить, я должен затронуть два вопроса, которые ведут нас в самую сердцевину проблем, связанных с этой темой. Во-первых: как относится нарцизм, о котором мы здесь говорим, к аутоэротизму, описанному нами как раннее состояние либидо?[4] Во-вторых: если мы приписываем Я первичный катексис либидо, то зачем вообще нужно отделять сексуальное либидо от несексуальной энергии влечений Я? Нельзя ли было бы избежать всех трудностей, вытекающих из разделения на энергию влечений Я и либидо Я, либидо Я и объектное либидо, если бы мы приняли за основу единую психическую энергию?[5] По поводу первого вопроса замечу: то, что изначально у индивида нет единства, сравнимого с Я, — это неизбежное предположение; Я должно развиться. Аутоэротические же влечения изначальны; следовательно, к аутоэротизму должно добавиться нечто, новое психическое действие, чтобы сформировать нарцизм.

[1] Этого различия Фрейд касается здесь впервые.

[2] Существует два механизма такого конца света: когда весь катексис либидо устремляется на объект любви и когда он весь возвращается в Я.

[3] О развитии представлений Фрейда о влечениях «Предварительные замечания издателей» к работе «Влечения и их судьбы» (1915).

[4] См. второй из трех очерков Фрейда по теории сексуальности (1905).

[5] По поводу этого пассажа см. «Предварительные замечания издателей» к работе «Влечения и их судьбы» (1915).

Требование дать определенный ответ на второй вопрос должно вызвать у любого психоаналитика явное неудовольствие. Он защищается от чувства того, что заменяет наблюдение бесплодными теоретическими спорами, но не вправе уклониться от попытки дать объяснение. Разумеется, такие представления, как либидо Я, энергия влечений Я и так далее, не отличаются ни особой ясностью, ни богатством содержания; в качестве основы умозрительной теории таких отношений хотелось бы прежде всего иметь некое строго очерченное понятие. Но, на мой взгляд, в этом и состоит различие между умозрительной теорией и наукой, которая строится на толковании эмпирических данных. Последняя не будет завидовать преимуществам умозрительных рассуждений — их гладким, логически безупречным обоснованиям, — а охотно удовлетворится неясными, словно исчезающими в тумане, непредставимыми основными идеями, которые она надеется яснее понять в ходе своего развития и, возможно, готова даже заменить другими. То есть эти идеи не составляют фундамент науки, на котором все зиждется; такой фундамент скорее дает наблюдение. Они находятся не внизу, а на самом верху всего строения, и их можно заменить или вообще убрать без какого-либо ущерба. В наше время мы видим подобное в физике, основные воззрения которой о материи, центрах силы, притяжении и т. д. вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствующие воззрения в психоанализе[1].

Ценность понятий «либидо Я», «объектное либидо» заключается в том, что они возникли в результате анализа интимных особенностей невротических и психотических процессов. Разделение либидо на либидо, присущее Я, и либидо, которое привязывается к объектам, — это естественное продолжение первой гипотезы, разграничивающей сексуальные влечения и влечения Я. К такому разграничению меня побудил анализ чистых неврозов переноса (истерии и невроза навязчивых состояний), и я знаю только, что все попытки объяснить эти феномены с помощью других средств потерпели полную неудачу.

При полном отсутствии теории влечений, задающей некие ориентиры, позволительно или, лучше сказать, необходимо вначале проверить какое-нибудь предположение, после-

[1] Эту же мысль Фрейд высказывает в самом начале своей работы «Влечения и их судьбы» (1915).

довательно развивая его до тех пор, пока оно не окажется несостоятельным или не оправдается. В пользу гипотезы об исходном разделении на сексуальные влечения и влечения Я — наряду с ее пригодностью для анализа неврозов переноса — говорит очень многое. Я признаю, что сам по себе этот момент не был бы однозначным, ибо речь могла бы идти об индифферентной психической энергии[1], которая становится либидо только благодаря катексису объекта. Но такое разделение понятий, во-первых, соответствует общепринятому разделению на голод и любовь. Во-вторых, в его пользу говорят *биологические* соображения. Индивид действительно ведет двойное существование — как самоцель и как звено в цепи, которой он служит вопреки или, во всяком случае, помимо собственной воли. Даже сексуальность он принимает за одно из своих намерений, тогда как, если смотреть с другой позиции, она представляет собой лишь придаток к его зародышевой плазме, которому он предоставляет свои силы в награду за удовольствие, будучи смертным носителем, возможно, бессмертной субстанции, подобно тому, как старший в роду — лишь временный владелец сохраняющегося и после его смерти имущества. Отделение сексуальных влечений от влечений Я отражало бы только эту двойную функцию индивида[2]. В-третьих, необходимо помнить о том, что все наши временные психологические данности когда-нибудь нужно будет соотнести с их органическими носителями. Вполне вероятно, что особые вещества и химические процессы оказывают влияние на сексуальность и содействуют тому, что индивидуальная жизнь продолжается в жизни рода. Мы считаемся с такой вероятностью, заменяя особые химические вещества особыми психическими силами.

Именно потому, что обычно я стараюсь оградить психологию от всего чуждого ей, в том числе и от биологического мышления, я хочу здесь открыто признать, что гипотеза об отдельных влечениях Я и сексуальных влечениях, то есть теория либидо, обоснована, по существу, биологически и лишь отчасти покоится на психологической почве. Поэтому я буду также вполне последовательным и откажусь от этой гипотезы, если в результате психоаналитической работы как таковой по-

[1] Эта идея вновь появляется в работе «Я и Оно» (1923).

[2] Психологическое значение теории Вейсмана о зародышевой плазме Фрейд гораздо подробнее рассматривает в главе 6 работы «По ту сторону принципа удовольствия» (1920).

явится другое, более пригодное предположение, касающееся влечений. Но этого до сих пор не произошло. Вполне возможно, что сексуальная энергия, либидо — в глубочайшей основе и в конечном счете — лишь дифференцированный продукт общей энергии, которая действует в психике. Но такое утверждение большого значения не имеет. Оно относится к вещам, которые столь далеки от проблем, связанных с нашими наблюдениями, и в нем так мало познавательного содержания, что совершенно бессмысленно пытаться его оспаривать или использовать. Пожалуй, это первичное тождество имеет столь же мало общего с нашими аналитическими интересами, как первичное родство всех человеческих рас — с доказательством родства с завещателем, которое требует ведомство по делам о наследии. С помощью всех этих умозрительных рассуждений мы ни к чему не приходим; поскольку не можем ждать, пока какая-нибудь другая наука одарит нас выводами, касающимися теории влечений; гораздо целесообразнее попытаться узнать, как можно разгадать эту фундаментальную биологическую загадку благодаря синтезу психологических феноменов. Мы будем иметь в виду возможность ошибки, но это не должно нас удерживать от последовательного прослеживания выбранной первой[1] гипотезы о противоположности влечений Я и сексуальных влечений, которая возникла у нас в результате анализа «неврозов переноса», с точки зрения возможности ее непротиворечивого и плодотворного развития, а также применения к другим поражениям, например, к шизофрении.

Разумеется, дело обстояло бы иначе, если бы было приведено доказательство, что при объяснении последнего заболевания теория либидо уже потерпела фиаско. К.Г. Юнг (1912) высказал это утверждение, вынудив меня этим к данным рассуждениям, без которых я мог бы вполне обойтись. Я предпочел бы пройти до конца путь, проторенный в анализе случая Шребера, ничего не говоря о своих предположениях. Но утверждение Юнга по меньшей мере поспешно. Его доводы не очень убедительны. Сначала он ссылается на мое собственное свидетельство, что я сам из-за трудностей при анализе Шребера чувствовал себя вынужденным расширить понятие либидо, то есть отказаться от его сексуального значения и отождествить

[1] В изданиях до 1924 года: «выбранной первой». В последующих изданиях: «упомянутой первой», что не совсем понятно и, возможно, является опечаткой.

либидо с психическим интересом в целом. Все, что необходимо сказать для исправления такого неверного истолкования моих слов, уже привел Ференци в обстоятельной критической статье, посвященной работе Юнга (1913). Я могу только согласиться с критиком и повторить, что нигде не заявлял о подобном отказе от теории либидо. Второй аргумент Юнга: нельзя полагать, что потеря нормальной функции реальности[1] может вызываться только отводом либидо, — это не аргументация, а декретирование; *it begs the question*[2], решение предопределено и дискуссия становится излишней, ибо возможно ли это вообще и, если да, то каким образом, как раз и должно быть исследовано. В следующей своей крупной работе (1913 [339–340]) Юнг вплотную подошел к давно уже обозначенному мною решению: «При этом, однако, нам нужно еще учитывать — на что, впрочем, указывает Фрейд в своей работе о случае Шребера (1911), — что интроверсия libido sexualis ведет к катексису "Я", в результате чего, возможно, и проявляется тот эффект потери реальности. Это и в самом деле заманчивая возможность объяснить таким образом психологию потери реальности». Но только Юнг не останавливается долго на этой возможности. Несколькими строками[3] ниже он отмахивается от нее замечанием, что при таких условиях «возникла бы психология аскетического анахорета, но не dementia praecox». Насколько мало такое непригодное сравнение позволяет решить вопрос, становится ясным из замечания, что у такого анахорета, который «стремится искоренить всякий след сексуального интереса» (но только в общепринятом значении слова «сексуальный»), совершенно не обязательно проявится патогенное распределение либидо. Он может полностью потерять сексуальный интерес к людям, но сублимировать его в повышенный интерес к божественному, к природе, к животному миру, не допуская интроверсии либидо к своим фантазиям или его возвращения к своему Я. В этом сравнении, по-видимому, исходно игнорируется возможное различие интересов, проистекающих из эротических и других источников. Кроме того, вспомним о том, что исследования швейцарской школы при всех их досто-

[1] Эта формулировка принадлежит Жане (1909): *«La fonction du réel»*.

[2] Спорный вопрос считается решенным (*англ.*). — *Примечание переводчика*.

[3] Во всех предыдущих немецких изданиях здесь опечатка — вместо правильного слова «строками» стоит слово «страницами».

инствах дали объяснение только двум моментам в картине dementia praecox — существованию определенных комплексов, встречающихся как у здоровых людей, так и у невротиков, и сходству фантазий больных с народными мифами. Но они не смогли пролить свет на механизм заболевания, и поэтому мы можем отвергнуть утверждение Юнга, что теория либидо потерпела фиаско при объяснении dementia praecox и, следовательно, исчерпала себя в отношении и других неврозов.

2

Непосредственное изучение нарцизма, как мне кажется, невозможно из-за особых сложностей. Главным подходом к нему останется, пожалуй, анализ парафрений. Подобно тому, как неврозы переноса позволили нам проследить либидинозные импульсы влечений, точно так же изучение dementia praecox и паранойи позволит нам понять психологию Я. И опять мы должны будем разгадать кажущуюся простоту нормального человека на основе искажений и огрублений в патологии. И тем не менее, чтобы приблизиться к пониманию нарцизма, у нас остаются открытыми некоторые другие пути, которые я хочу теперь описать по порядку: рассмотрение органической болезни, ипохондрии и любовной жизни полов.

В оценке влияния органической болезни на распределение либидо я следую идеям, высказанным Ш. Ференци. Всем нам известно и кажется совершенно естественным, что человек, которого мучают органическая боль и неприятные ощущения, теряет интерес к предметам внешнего мира, если они не касаются его страданий. Более точное наблюдение показывает, что у него пропадает также и либидинозный интерес к объектам любви, он перестает любить, пока страдает. И пусть нас не смущает банальность этого факта, когда мы хотим дать его перевод в термины теории либидо. В таком случае мы бы сказали: больной возвращает катексисы либидо к своему Я, чтобы после выздоровления излучать их снова. «Лишь в тесном дупле коренного зуба пребывает душа», — говорит В. Буш о поэте, страдающем зубной болью[1]. Либидо и интересы Я постигает при этом одна и та же судьба, и их снова нельзя отделить друг от друга. Известный эгоизм больных покрывает и то и другое. Мы считаем его совершенно естественным,

[1] «Balduin Bählamm», глава 8.

ибо не сомневаемся, что в такой ситуации будем вести себя точно так же. Исчезновение по-прежнему весьма интенсивной готовности любить вследствие физических расстройств, внезапная ее замена полным равнодушием находят соответствующее отображение в комедиях.

Как и болезнь, состояние сна также означает нарциссический отвод позиций либидо к собственной персоне, точнее, к желанию спать. Эгоизм сновидений вполне соответствует этим взаимосвязям[1]. В обоих случаях мы имеем дело не с чем иным, как с изменениями распределения либидо вследствие изменения Я.

Ипохондрия, как и органическая болезнь, выражается в мучительных и болезненных физических ощущениях и точно так же влияет на распределение либидо. Ипохондрик не обнаруживает интереса к объектам внешнего мира и не направляет на них либидо (последнее проявляется особенно отчетливо), а сосредоточивает и то, и другое на занимающем его органе. Здесь становится очевидным различие между ипохондрией и органической болезнью: в последнем случае неприятные ощущения объясняются [органическими] изменениями, которые можно выявить, а в первом случае таких изменений нет. Но если бы мы решились сказать, что ипохондрия в чем-то права и органические изменения должны быть и в этом случае, то это отвечало бы другим нашим представлениям о невротических процессах. В чем же тогда состояли бы эти изменения?

Мы будем здесь руководствоваться наблюдением, что неприятные телесные ощущения, сходные с ипохондрическими, присутствуют и при других неврозах. Однажды я уже высказывал свое желание представить ипохондрию как третий актуальный невроз наряду с неврастенией и неврозом страха[2]. Наверное, не будет преувеличением сказать, что, как правило, и

[1] См. работу «Метапсихологическое дополнение к теории сновидений» (1917).

[2] Пожалуй, самое первое указание на это содержится в сноске в конце раздела II анализа Шребера (1911). Следующее короткое, но более определенное упоминание содержится в заключительных замечаниях Фрейда к дискуссии об онанизме в Венском психоаналитическом объединении (1912). Позднее, в 24-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917) он еще раз возвращается к этой теме. Однако в еще более ранний период своего творчества Фрейд ставил вопрос об отношении между ипохондрией и другими «актуальными неврозами». См. раздел I (2) его первой работы, посвященной неврозу страха (1895).

при других неврозах отчасти формируется ипохондрия. Нагляднее всего это проявляется, пожалуй, при неврозе страха и надстраивающейся на нем истерии. Хорошо известный нам пример болезненно-чувствительного, в некотором смысле измененного, но не больного в обычном понимании органа — возбужденные гениталии. К ним притекает кровь, они разбухают, увлажняются и становятся источником разнообразных ощущений. Если мы назовем деятельность части тела, состоящую в том, чтобы посылать в психику сексуально возбуждающие раздражители, *эрогенностью* и если мы вспомним о том, что в соответствии с положениями теории сексуальности определенные части тела — *эрогенные* зоны — могут заменять гениталии и вести себя аналогично им[1], то мы должны отважиться сделать здесь еще один шаг. Мы можем решиться рассматривать эрогенность как общее свойство всех органов, и тогда мы будем вправе говорить о ее повышении или снижении в определенной части тела. Каждое такое изменение эрогенности в органах может сопровождаться изменением либидинозного катексиса в Я. В таких моментах нам следовало бы искать то, что нами положено в основу ипохондрии и что может оказывать такое же воздействие на распределение либидо, как и материальное заболевание органов.

Продолжая этот ход мыслей, мы заметим, что сталкиваемся с проблемой не только ипохондрии, но и других актуальных неврозов, неврастении и невроза страха. Поэтому давайте здесь остановимся; в намерения нашего чисто психологического исследования не входит переступать границы и так далеко вдаваться в область физиологического исследования. Следует только упомянуть вытекающую из этого гипотезу, что ипохондрия находится с парафренией в таких же отношениях, в каких другие актуальные неврозы находятся с истерией и неврозом навязчивых состояний, то есть она зависит от либидо Я, как те зависят от объектного либидо. С точки зрения либидо Я ипохондрический страх представляет собой противоположность невротического страха. Далее, если мы уже знакомы с представлением, что механизм заболевания и симптомообразования при неврозах переноса, то есть шаг вперед от интроверсии к регрессии, следует связать с за-

[1] Ср. «Три очерка по теории сексуальности» (1905), *Studienausgabe*, т. 5, с. 90.

стоем объектного либидо[1], то мы должны также ближе познакомиться с представлением о застое либидо Я и связать его с феноменами ипохондрии и парафрении.

Разумеется, здесь наша любознательность заставляет нас задать вопрос: почему подобный застой либидо в Я должен ощущаться как неприятный? Я хотел бы ограничиться ответом, что неудовольствие в целом является выражением более высокого напряжения, то есть представляет собой некоторое количество материального события, которое здесь, как и везде, превращается в психическое качество неудовольствия; тем не менее решающим моментом в развитии чувства неудовольствия является не абсолютная величина этого материального процесса, а, скорее, определенная функция этой абсолютной величины[2]. С этих позиций можно решиться подойти к вопросу о том, откуда вообще берется необходимость в душевной жизни выходить за границы нарцизма и направлять либидо на объекты[3]. Ответ, вытекающий из наших рассуждений, следующий: эта необходимость возникает тогда, когда либидинозный катексис Я достиг определенных пределов. Выраженный эгоизм защищает от заболевания, но в конце концов человек должен начать любить для того, чтобы не заболеть, и будет больным, если не может любить из-за отказа. Это похоже на то, как Г. Гейне изображает психогенез сотворения мира:

«Моих всех творческих порывов
Болезнь — последняя причина;
Творя сумел я исцелиться,
Творя я стал здоров»[4].

В нашем душевном аппарате мы прежде всего обнаружили одно средство, позволяющее справляться с возбуждения-

[1] Ср. [первые страницы работы] «О типах невротического заболевания» (1912).

[2] Этот комплекс вопросов гораздо подробнее обсуждается в работе «Влечения и их судьбы» (1915). Относительно употребления термина «количество» в первой части данного предложения см. «Проект», написанный Фрейдом в 1895 году (1950, часть I, первый раздел, «Первый главный тезис: количественный подход»).

[3] Гораздо более подробное обсуждение этой проблемы также можно найти в работе «Влечения и их судьбы» (1915).

[4] Эти слова поэт вкладывает в уста Бога. H. Heine, *Neue Gedichte,* «Schöpfungslieder», VII.

ми, которые в противном случае воспринимались бы как мучительные или оказывали бы патогенное воздействие. Психическая переработка имеет необычайное значение для внутреннего отведения возбуждений, которые неспособны к непосредственному внешнему отводу или для которых такой отвод в данный момент был бы нежелателен. Но для такой внутренней переработки вначале не важно, с какими объектами — реальными или воображаемыми — она совершается. Различие проявляется только позднее, когда обращение либидо на нереальные объекты (интроверсия) привело к его застою. Аналогичная внутренняя переработка вернувшегося к Я либидо приводит при парафрении к возникновению мании величия; возможно, только после ряда разочарований застой либидо в Я становится патогенным и стимулирует процесс исцеления, который производит впечатление болезни.

Здесь я попытаюсь несколько углубиться в механизм парафрений и сопоставлю точки зрения, которые, на мой взгляд, уже сегодня заслуживают внимания. Отличие этих заболеваний от неврозов переноса я отношу к тому обстоятельству, что либидо, ставшее свободным в результате фрустрации, не остается фиксированным на объектах фантазии, а возвращается к Я; в таком случае мания величия соответствует психическому преодолению этих количеств либидо, то есть интроверсии на продукты фантазии при неврозах переноса; вследствие осечки этой психической деятельности возникает ипохондрия при парафрении, гомологичная страху при неврозах переноса. Мы знаем, что этот страх может смениться дальнейшей психической переработкой, то есть конверсией, реактивными образованиями, защитными образованиями (фобией). При парафрении вместо этого совершается попытка реституции, которой мы и обязаны бросающимися в глаза болезненными явлениями. Поскольку парафрения часто — если не в большинстве случаев — сопровождается лишь частичным отделением либидо от объектов, то в ее картине можно выделить три группы явлений: 1) сохранившиеся нормальные или невротические явления (остаточные явления); 2) проявления болезненного процесса (отделение либидо от объектов, кроме того, мания величия, ипохондрия, аффективные нарушения, все виды регрессии); 3) явления реституции, в результате которой по схеме при истерии (dementia praecox, истинной парафрении) или по схеме невроза навяз-

чивых состояний (паранойи) либидо снова устремляется на объекты. Этот новый либидинозный катексис происходит с другого уровня и при других условиях по сравнению с первичным[1]. Различие между возникшими в данном случае неврозами переноса и соответствующими образованиями нормального Я, по-видимому, позволит нам получить самое глубокое понимание структуры нашего душевного аппарата.

Третий подход к изучению нарцизма открывает нам любовная жизнь людей в ее различной дифференциации у мужчины и женщины. Подобно тому, как в наших наблюдениях объектное либидо вначале было закрытым либидо Я, точно так же при выборе объекта ребенком (и подростком) мы сначала заметили, что свои сексуальные объекты он выбирает в соответствии со своими переживаниями удовлетворения. Первое аутоэротическое сексуальное удовлетворение переживается в связи с жизненно важными функциями, служащими самосохранению. Сексуальные влечения сначала примыкают к удовлетворению влечений Я и только позднее становятся независимыми от последних; но это примыкание проявляется также и в том, что люди, имеющие дело с кормлением, охраной ребенка и уходом за ним, то есть в первую очередь мать или тот, кто ее заменяет, становятся его первыми сексуальными объектами. Наряду с этим типом и этим источником выбора объекта, который можно назвать *примыкающим*[2], аналитическое исследование познакомило нас со вторым типом, встретить который мы никак не ожидали. Мы обнаружили — особенно четко у лиц, либидинозное развитие ко-

[1] Некоторые дополнительные замечания по этому поводу см. в заключительной части работы «Бессознательное» (1915).

[2] Пожалуй, термин «примыкающий тип» в печатном виде появляется здесь впервые. И наоборот, представление о том, что ребенок через потребность в пище обретает свой первый сексуальный объект, можно найти еще в первом издании «Трех очерков по теории сексуальности» (1905), однако два или три места, в которых там встречается термин «примыкающий тип», были добавлены лишь в издании 1915 года. Похоже, что введение этого понятия было подготовлено во второй работе Фрейда, посвященной психологии любви (1912). Выражение «примыкающий» в аналогичном смысле употреблялось в начале III раздела анализа Шребера (1911), однако гипотеза, лежащая в его основе, приведена не была. Следует заметить, что в данном контексте слово «примыкающий» обозначает отношение сексуальных влечений к влечениям Я, но не отношение ребенка к матери.

торых было нарушено, например, у извращенцев и гомосексуалистов, — что позднее они выбирают объект любви не по прообразу матери, а по прототипу собственной персоны. В качестве объекта любви они явно ищут самих себя, обнаруживая тип выбора объекта, который следует назвать *нарциссическим*. В этом наблюдении можно увидеть самый сильный мотив, склонивший нас к гипотезе о нарцизме.

Мы не пришли к заключению, что люди четко делятся на две разные группы в зависимости от того, к какому типу выбора объекта они принадлежат — нарциссическому или примыкающему, а скорее предполагаем, что каждому человеку открыты оба пути выбора объекта, причем он может предпочесть как тот, так и другой. Мы говорим, что у человека есть два первоначальных сексуальных объекта — он сам и заботящаяся о нем женщина, предполагая при этом, что у каждого человека существует первичный нарцизм, который при случае может оказывать доминирующее воздействие при выборе им объекта.

Сравнение мужчины и женщины показывает, что по отношению к типу выбора объекта у них наблюдаются фундаментальные, хотя, разумеется, и не регулярные различия. Абсолютная любовь к объекту по примыкающему типу, в сущности, характерна для мужчины. Она обнаруживает поразительную сексуальную переоценку, которая, видимо, проистекает из первоначального нарцизма ребенка и, следовательно, соответствует переносу нарцизма на сексуальный объект. Эта сексуальная переоценка способствует возникновению своеобразного состояния влюбленности, напоминающего невротическую навязчивость, которое, таким образом, объясняется оскудением либидо у Я в пользу объекта[1]. Иначе происходит развитие у самого распространенного, вероятно, самого чистого и настоящего типа женщины. Здесь в ходе пубертатного развития благодаря формированию дотоле латентных женских половых органов, по-видимому, происходит усиление первоначального нарцизма, которое неблагоприятно сказывается на развитии настоящей, сопряженной с сексуальной переоценкой объектной любви. Особенно в том случае, когда в процессе своего развития женщина становится красивой, у

[1] К этой теме Фрейд снова возвращается при обсуждении состояния влюбленности в 8 главе «Психологии масс» (1921).

нее возникает самодовольство, возмещающее ее социально ограниченную свободу в выборе объекта. Строго говоря, такие женщины любят только самих себя, причем так же сильно, как их любит мужчина. Они и нуждаются не в том, чтобы любить, а в том, чтобы быть любимой, и им нравятся мужчины, которые выполняют это условие. Значение этого типа женщин для любовной жизни людей следует оценить весьма высоко. Такие женщины наиболее привлекательны для мужчин, причем не только по эстетическим причинам, поскольку обычно они очень красивы, но и в силу любопытных психологических констелляций. Нетрудно заметить, что нарцизм человека обладает большой притягательной силой для тех людей, которые полностью отказались от собственного нарцизма ради объектной любви; очарование ребенка во многом основывается на его нарцизме, самодовольстве и недоступности, равно как и очарование некоторых животных, например кошек и крупных хищников, которых словно ничего не заботит. И даже в художественных произведениях великий преступник и юморист увлекают нас той нарциссической последовательностью, с которой они умеют отстранять от своего Я все, что его принижает. Мы словно завидуем тому, что они сохранили счастливое душевное состояние, неприступную позицию либидо, от которой сами мы давно уже отказались. Однако большая привлекательность нарциссической женщины не лишена и оборотной стороны; неудовлетворенность влюбленного мужчины, сомнения в любви женщины, сетования на загадочность ее души во многом объясняются этим несовпадением типов выбора объекта.

Наверное, нелишне будет заверить, что, изображая в таком виде женскую любовную жизнь, я далек от какого-либо стремления принизить женщину. Помимо того, что мне вообще чужды такие тенденции, я знаю также, что это развитие в различных направлениях соответствует дифференциации функций в необычайно сложных биологических взаимосвязях; кроме того, я готов признать, что существует огромное множество женщин, которые любят по мужскому типу и обнаруживают соответствующую сексуальную переоценку.

Но и у нарциссических, оставшихся холодными к мужчине женщин есть путь, который ведет их к полноценной объектной любви. В ребенке, который у них рождается, они соприкасаются с частью собственного тела как посторонним

объектом, которому, основываясь на нарцизме, могут теперь подарить полноценную объектную любовь. Другим женщинам не надо дожидаться ребенка, чтобы в своем развитии сделать шаг от (вторичного) нарцизма к объектной любви. До пубертата они сами ощущали себя мальчиками и отчасти развивались как мальчики; после того как с наступлением женской зрелости это устремление пропадает, у них сохраняется способность тянуться к мужскому идеалу, являющемуся, собственно говоря, продолжением того мальчишеского существа, которым они сами когда-то были[1].

Эти вскользь затронутые наблюдения завершит краткий обзор способов выбора объекта. Человек любит:

1) по нарциссическому типу:

а) такого, как он сам (самого себя),

б) такого, каким он был когда-то,

в) такого, каким он хотел бы быть,

г) человека, который прежде был частью его самого;

2) по примыкающему типу:

а) кормящую женщину,

б) защищающего мужчину и весь ряд замещающих их людей. Случай в) первого типа мы сможем объяснить лишь в ходе последующих рассуждений. [См. с. 206.]

Значение нарциссического объекта при гомосексуальности у мужчин необходимо будет рассмотреть в другом контексте[2].

Предполагаемый нами первичный нарцизм ребенка, составляющий одну из предпосылок нашей теории либидо, гораздо труднее распознать путем непосредственного наблюдения, нежели доказать логически, отталкиваясь от другого исходного пункта. Рассматривая отношение нежных родителей к своим детям, необходимо понимать его как оживление и воспроизводство собственного нарцизма, от которого они давно отказались. В этих чувственных отношениях, как известно, явно преобладает признак переоценки, который мы рас-

[1] Свои взгляды на женскую сексуальность Фрейд развивал в ряде более поздних работ, таких как «Психогенез одного случая женской гомосексуальности» (1920), «Некоторые психические последствия анатомического различия между полами» (1925), «О женской сексуальности» (1931), а также в 33-й лекции «Нового цикла» (1933).

[2] Этот вопрос Фрейд затронул еще в III разделе своего очерка, посвященного Леонардо (1910).

ценили как стигму нарцизма еще при рассмотрении выбора объекта. Так, например, существует потребность приписывать ребенку все совершенства, к чему при здравом наблюдении не было бы никакого повода, а также скрывать и забывать все его недостатки, с чем связано также и отрицание детской сексуальности. Но существует также склонность избавить ребенка от всех требований культуры, с которыми пришлось считаться собственному нарцизму, и возродить у него претензии на давно уже отвергнутые привилегии. Ребенку должно быть лучше, чем его родителям, он не должен подчиняться необходимостям, которые царят в жизни. Ни болезнь, ни смерть, ни отказ от наслаждений, ни ограничение собственной воли не должны касаться ребенка; законы природы и общества к нему не относятся, он действительно должен стать центром и средоточием мироздания. *His Majesty the Baby*[1] — таким взрослый человек когда-то казался себе. Он должен исполнить неисполненные желания родителей, стать вместо отца великим человеком, героем, дочь должна получить в мужья принца в качестве позднего вознаграждения матери. Самый уязвимый момент нарциссической системы — жестоко попираемое реальностью бессмертие Я — сохраняется, найдя свое прибежище в ребенке. Трогательная, по сути, такая детская родительская любовь — это не что иное, как возрожденный нарцизм родителей, который при превращении в объектную любовь совершенно открыто проявляет свою прежнюю сущность.

3

Каким нарушениям подвержен первоначальный нарцизм ребенка и какие реакции используются для их предотвращения, а также на какие пути он при этом оттесняется — все эти вопросы я хотел бы пока отложить как важный рабочий материал, который все еще ждет своего разъяснения. Наиболее важную его часть можно выделить как «комплекс кастрации» (страх за пенис у мальчика, зависть к пенису у девочки) и об-

[1] По-видимому, намек на относящееся к эпохе правления Эдуарда VII известное в свое время изображение Королевской академии, снабженное этой надписью, где двое лондонских полицейских останавливают оживленное уличное движение, чтобы няня смогла перевезти через дорогу детскую коляску. Выражение «Его Величество Я» встречается в более ранней работе Фрейда «Поэт и фантазирование» (1908).

судить ее во взаимосвязи с влиянием сексуального запугивания в раннем детстве. Психоаналитическое исследование, которое обычно дает нам возможность проследить судьбу либидинозных влечений, когда они, будучи изолированными от влечений Я, находятся к ним в оппозиции, позволяет нам сделать выводы о том времени и той психической ситуации, когда оба типа влечений проявляются в виде нарциссических интересов, пока еще действующих заодно в неразделимом смешении. Из этой взаимосвязи А. Адлер (1910) создал свое понятие «мужской протест», который он объявляет чуть ли не единственной движущей силой образования характера и неврозов, объясняя его не нарциссическим, то есть все-таки либидинозным, стремлением, а социальной оценкой. С точки зрения психоаналитического исследования существование и значение «мужского протеста» признавалось с самого начала, но вопреки Адлеру отстаивалась его нарциссическая природа и происхождение из «комплекса кастрации». Он относится к характерологическому образованию, в развитии которого он участвует наряду с другими факторами, и совершенно непригоден для объяснения проблемы неврозов, где Адлер учитывает только то, каким образом они служат интересам Я. Я считаю абсолютно невозможным поставить генез неврозов на узкую основу «комплекса кастрации», как бы сильно он ни проявлялся даже у мужчин среди других видов сопротивления лечению невроза. Наконец, мне также известны случаи неврозов, в которых «мужской протест», или — в нашем понимании — «комплекс кастрации», патогенной роли не играет или вообще отсутствует[1].

Наблюдение за нормальным взрослым человеком показывает, что его прежняя мания величия приглушена, а психи-

---

[1] В письме от 30 сентября 1926 года Леонардо Вайсу (которому мы благодарны за эти сведения) Фрейд пишет: «Ваш вопрос по поводу моего высказывания во «Введении понятия “нарцизм”», бывают ли неврозы, при которых комплекс кастрации никакой роли не играет, приводит меня в замешательство. Не знаю, о чем я тогда думал. Сегодня, однако, я не смог бы назвать ни одного невроза, в котором не встречался бы этот комплекс, и уж во всяком случае сегодня я бы этой фразы не написал. Но пока обо всей этой области мы знаем еще слишком мало, и я предпочел бы не привязываться окончательно ни к одной странице» (Freud, 1970). — Другие критические замечания относительно представлений Адлера о «мужском протесте» содержатся в очерке «История психоаналитического движения» (1914) и — более подробные — в работе «Ребенка бьют» (1919).

ческие особенности, по которым мы судим о его детском нарцизме, сглажены. Что сталось с его либидо Я? Должны ли мы предполагать, что все его количество израсходовано на объектные катексисы? Эта возможность явно противоречит всему ходу наших рассуждений; но для другого ответа на этот вопрос мы можем также заимствовать сведения из психологии вытеснения.

Мы уже знаем, что импульсы либидинозного влечения подвергаются патогенному вытеснению, если они вступают в конфликт с культурными и этическими представлениями индивида. Под этим условием отнюдь не понимается, что человек обладает только интеллектуальным знанием о существовании этих представлений; всякий раз здесь имеется в виду, что он считает их определяющими для себя и подчиняется вытекающим из них требованиям. Вытеснение, как мы сказали, исходит из Я; мы могли бы уточнить: из самоуважения Я. Те же впечатления, переживания, импульсы, желания, которые один человек допускает у себя или, по крайней мере, сознательно перерабатывает, отвергаются другим с полным негодованием или подавляются еще до их осознания[1]. Но различие между ними как условие вытеснения легко облечь в выражения, которые позволяют его понять благодаря теории либидо. Мы можем сказать, что один соорудил в себе *идеал,* с которым он сверяет свое фактическое Я, тогда как другому такого образования идеала недостает. Таким образом, образование идеала является условием вытеснения со стороны Я[2].

Этому идеалу Я принадлежит теперь та любовь к себе, которой в детстве наслаждалось действительное Я. Нарцизм переместился на это идеальное Я, которое, как и инфантильное, обладает всеми ценными совершенствами. Человек оказался здесь, как это всегда бывает в сфере либидо, неспособным отказаться от некогда испытанного удовлетворения. Он не хочет лишиться нарциссического совершенства своего детства, и если не смог сохранить его, то, сдерживаемый предостережениями, полученными в период своего развития, и побуждаемый собственными суждениями, он пытается вновь

[1] Некоторые другие замечания см. в работе о вытеснении (1915).

[2] Комментарий к этому положению содержится в сноске к главе 11 работы «Психология масс и анализ Я» (1921).

обрести его в форме Я-идеала. То, что он проецирует как свой идеал, есть замена утраченного нарцизма своего детства, в котором он сам для себя был идеалом[1].

Напрашивается мысль исследовать отношение этого образования идеала к сублимации. Сублимация представляет собой процесс, происходящий с объектным либидо, который состоит в том, что влечение устремляется на другую цель, далекую от сексуального удовлетворения; при этом акцент делается на отвлечении от сексуальной сферы. Идеализация представляет собой процесс, происходящий с объектом, в результате которого этот объект, не меняясь по существу, психически возвеличивается и превозносится. Идеализация возможна как в области либидо Я, так и в области объектного либидо. Например, сексуальная переоценка объекта представляет собой его идеализацию. Поскольку, стало быть, сублимация описывает то, что происходит с влечением, а идеализация — то, что происходит с объектом, в понятийном отношении их следует отличать друг от друга[2].

Часто в ущерб пониманию образование Я-идеала путают с сублимацией влечения. Если кто-то сменил свой нарцизм на почитание высокого Я-идеала, то это еще не означает, что ему удалась сублимация своих либидинозных влечений. Хотя Я-идеал и требует такой сублимации, он не может вынудить к ней; сублимация остается особым процессом, начало которого может быть стимулировано идеалом, но его осуществление совершенно не зависит от этого стимулирования. Именно у невротиков можно обнаружить наивысшую разность напряжений между формированием Я-идеала и степенью сублимации их примитивных либидинозных влечений, и в целом гораздо труднее заставить убедиться в нецелесообразном использовании своего либидо идеалиста, нежели простого и скромного в своих притязаниях человека. Отношение образования идеала и сублимации к причинам возникновения невроза также совершенно различное. Образование идеала, как мы уже слышали, повышает требования Я и является мощнейшим фактором, способствующим вытеснению; сублимация представляет собой

[1] В изданиях до 1924 года здесь говорится «...есть лишь замена...»
[2] К вопросу идеализации Фрейд возвращается в 8 главе «Психологии масс» (1921), *Studienausgabe*, т. 9, с. 105.

выход из положения, когда требование может быть выполнено, не приводя к вытеснению[1].

Было бы неудивительно, если бы мы обнаружили особую психическую инстанцию, задача которой состоит в том, чтобы следить за обеспечением нарциссического удовлетворения от Я-идеала и с этой целью непрерывно наблюдать за фактическим Я, сверяя его с идеалом[2]. Если такая инстанция существует, то выявить ее для нас оказывается невозможным; мы можем только распознать ее как таковую, сказав себе: то, что мы называем своей *совестью*, отвечает этой характеристике. Признание этой инстанции позволяет нам понять так называемый бред соблюдения, или, вернее, *наблюдения*, который столь ясно проявляется в симптоматологии параноидных заболеваний, но также может встречаться в качестве самостоятельного заболевания или вкрапляться в невроз переноса. Тогда больные жалуются на то, что все их мысли известны, за всеми их действиями наблюдают и надзирают; об их действиях эту инстанцию информируют голоса, которые — что характерно — говорят о них в третьем лице («сейчас она снова об этом думает», «сейчас он уходит»). Эта жалоба правильна, она отражает истину; такая сила, которая следит за всеми нашими намерениями, узнает их и критикует, действительно существует, причем у всех нас в обычной жизни. Бред наблюдения изображает ее в регрессивной форме, при этом раскрывает ее возникновение и причину, отчего больной и восстает против нее.

Собственно говоря, стимул к образованию Я-идеала, стражем которого назначена совесть, исходил из передаваемого через голос критического воздействия родителей, к которым с течением времени примкнули воспитатели, учителя и все необозримое, не поддающееся определению множество других лиц из внешнего окружения (окружающие люди, общественное мнение).

Большие количества преимущественно гомосексуального либидо были привлечены для образования нарциссическо-

[1] Возможность взаимосвязи между сублимацией и превращением сексуального объектного либидо в нарциссическое Фрейд обсуждает в начале 3 главы работы «Я и Оно» (1923).

[2] Позднее Фрейд разработал понятие Сверх-Я, которое представляет собой комбинацию этой инстанции и Я-идеала. Ср. 11 главу «Психологии масс» (1921), а также 2 главу работы «Я и Оно» (1923).

го Я-идеала, и они отводятся и удовлетворяются в процессе его сохранения. Институт совести вначале был, по существу, воплощением родительской, а в дальнейшем — общественной критики; этот же процесс повторяется при возникновении склонности к вытеснению вследствие вначале внешнего запрета или препятствия. Теперь голоса, а также оставшаяся неопределенной масса повелевавших людей вновь появляются при болезни, и тем самым регрессивно воспроизводится история развития совести. Сопротивление же этой *цензорской инстанции* объясняется тем, что в соответствии с основным характером заболевания человек хочет избавиться от всех этих влияний, начиная с родительского, отводя от них гомосексуальное либидо. В регрессивном отображении их совесть враждебно противостоит им в виде воздействия извне.

Жалоба при паранойе показывает также, что самокритика совести, в сущности, совпадает по времени с самонаблюдением, на котором она основывается. Та же самая психическая деятельность, взявшая на себя функцию совести, стала также служить внутреннему исследованию, которое поставляет философии материал для ее мыслительных операций. С этим, пожалуй, связан импульс к построению спекулятивных систем, который характерен для паранойи[1].

Разумеется, если мы сможем выявить признаки деятельности этой критически наблюдающей инстанции, возросшей до совести и философской интроспекции, и в других областях, то это будет иметь для нас большое значение. К этим признакам я отношу то, что Г. Зильберер описал в качестве «функционального феномена» — одно из немногих дополнений к теории сновидений, ценность которого неоспорима. Как известно, Зильберер показал, что в состояниях между сном и бодрствованием можно непосредственно наблюдать превращение мыслей в зрительные образы, но что при таких условиях зачастую изображается не содержание мыслей, а состояние (готовности, усталости и т. д.), в котором находится борющийся со сном человек. Он также показал, что иногда заключительные части снов и фрагменты содержания снови-

[1] Только в качестве предположения добавлю, что с формированием и усилением этой наблюдающей инстанции, возможно, связано последующее появление (субъективной) памяти и восприятия времени, которое для бессознательных процессов не имеет никакого значения. [Дальнейшие пояснения по этому вопросу содержатся в работе «Бессознательное» (1915).]

дения означают не что иное, как самовосприятие человеком сна и пробуждения. Таким образом, он доказал участие самонаблюдения — в смысле паранойяльного бреда наблюдения — в образовании сновидений. Это участие непостоянно; наверное, я и не обратил на него внимания потому, что в моих собственных снах оно особой роли не играет; у философски одаренных, привыкших к интроспекции людей оно может быть очень отчетливым[1].

Вспомним, что образование сновидения, как мы обнаружили, происходит под властью цензуры, вынуждающей к искажению мыслей сна. Но под этой цензурой мы не имеем в виду какую-то особую силу — мы выбрали это слово для обозначения обращенной к мыслям сновидения стороны вытесняющих, властвующих над Я тенденций. Внимательно рассмотрев структуру Я, в Я-идеале и в динамических проявлениях совести мы сможем распознать также и *цензора сновидений*[2]. Если этот цензор хоть немного продолжает следить также и во время сна, то мы поймем, что условие его деятельности — самонаблюдение и самокритика — вносит свой вклад в содержание сновидения в виде таких замечаний, как «Сейчас он слишком сонный, чтобы думать», «Теперь он просыпается» и т. д.[3]

С этих позиций мы можем попытаться обсудить вопрос о чувстве собственной значимости у нормального человека и у невротика.

Чувство собственной значимости кажется нам прежде всего выражением величины Я, а то, из чего оно состоит, да-

[1] Г. Зильберер (1909 и 1912). В 1914 году, то есть в том же году, когда Фрейд написал данную работу, он добавил в «Толкование сновидений» (1900) гораздо более подробное обсуждение этого явления.

[2] Здесь, а также в начале следующего предложения и ниже, на с. 206, Фрейд употребляет личную форму «цензор» вместо обычно используемого слова «цензура». Ср. пассаж в «Толковании сновидений», на который указывалось в предыдущем примечании (*Studienausgabe*, т. 2, с. 485 и прим. 1). Различие между обоими выражениями Фрейд поясняет в конце своей 26-й лекции по введению в психоанализ (1916–1917): «Самонаблюдающая инстанция известна нам как цензор Я, как совесть; это та же самая инстанция, которая ночью осуществляет цензуру сновидения...» (*Studienausgabe*, т. 1, с. 413.)

[3] Я не могу здесь определенно сказать, способно ли отделение этой цензорской инстанции от остального Я психологически обосновать философское разделение сознания и самосознания.

лее не учитывается. Все, чем владеет и чего достиг человек, всякий подтвержденный опытом остаток примитивного чувства всемогущества помогает повысить чувство собственной значимости.

Если мы введем наше разграничение сексуальных влечений и влечений Я, то должны будем признать за чувством собственной значимости особую внутреннюю зависимость от нарциссического либидо. При этом мы опираемся на два основных факта: что при парафрениях чувство собственной значимости повышено, а при неврозах переноса понижено и что в любовной жизни у нелюбимого человека чувство собственной значимости снижается, а у любимого оно повышается. Мы отмечали, что цель при нарциссическом выборе объекта — быть любимым, и это дает удовлетворение[1].

Далее нетрудно заметить, что либидинозный катексис объектов не повышает чувство собственной значимости. Зависимость от любимого объекта действует уничижительно; кто влюблен — тот покорен. Кто любит, тот, так сказать, лишился части своего нарцизма, и он может его сохранить лишь будучи любимым. Во всех этих отношениях чувство собственной значимости, по-видимому, остается связанным с нарциссическим компонентом в любовной жизни.

Ощущение бессилия, собственной неспособности любить вследствие душевных или телесных расстройств в значительной степени подрывает чувство собственной значимости. Здесь, по моему мнению, следует искать один из источников столь охотно проявляемых невротиками чувств неполноценности. Но главный источник этих чувств — обеднение Я, возникающее из-за чрезвычайно сильных катексисов, лишающих Я либидо, то есть повреждение Я вследствие сексуальных стремлений, которые уже не поддаются контролю.

Адлер (1907) справедливо отметил, что ощущение собственной органической неполноценности стимулирует дееспособную душевную жизнь и посредством сверхкомпенсации ведет к повышению продуктивности. Но было бы большим преувеличением объяснять все высокие достижения этой первоначальной неполноценностью органов. Не у всех художников были дефекты зрения, не все ораторы вначале заикались.

[1] На эту тему Фрейд рассуждает в 8 главе в своей «Психологии масс» (1921).

Многие превосходные результаты были достигнуты благодаря исключительной одаренности органов. В этиологии неврозов органическая неполноценность играет второстепенную роль — примерно такую же, какую актуальное восприятие материала играет в образовании сновидения. Невроз пользуется ею как предлогом, как и всякими другими подходящими обстоятельствами. Но если поверить невротической пациентке, что она заболела из-за того, что некрасива, уродлива, непривлекательна, и поэтому ее никто не может полюбить, то следующая больная, которая застревает в неврозе и отвергает половую жизнь, хотя кажется привлекательной и пользуется успехом, доказывает обратное. Большинство истерических женщин принадлежит к привлекательным и даже красивым представительницам своего пола, а, с другой стороны, многочисленные уродства, обезображенные органы и физические недостатки у представителей низших слоев нашего общества никак не влияют на частоту невротических заболеваний в их среде.

Отношение чувства собственной значимости к эротике (к либидинозным катексисам объектов) можно сформулировать следующим образом: необходимо различать два случая — *сообразны ли Я* любовные катексисы, или, наоборот, подверглись ли они вытеснению. В первом случае (при сообразном Я использовании либидо) любовь ценится подобно любой другой активности Я. Сама по себе любовь — как страдание, лишение — снижает чувство собственной значимости, но взаимная любовь, обладание любимым объектом снова его повышает. В случае вытеснения либидо любовный катексис воспринимается как неприятное уменьшение Я, любовное удовлетворение невозможно, новое обогащение Я возможно лишь посредством отведения либидо от объектов. Такое возвращение объектного либидо к Я, его превращение в нарцизм, так сказать, опять представляет собой счастливую любовь[1], а с другой стороны, также и реальная счастливая любовь соответствует первичному состоянию, в котором объектное либидо и либидо Я неразличимы.

Ввиду важности и неясности предмета, наверное, будет позволительно добавить здесь некоторые другие положения без соблюдения строгой очередности.

[1] В первом издании, и только в нем, вместо «представляет собой» стоит «создает».

Развитие Я состоит в удалении от первичного нарцизма, которое вызывает интенсивное желание вновь его обрести. Это удаление происходит посредством смещения либидо на навязанный извне Я-идеал, на удовлетворение благодаря осуществлению этого идеала.

Одновременно Я создает либидинозные объектные катексисы. Ради этих катексисов, таких как катексис Я-идеала, оно оскудевает и снова обогащается благодаря удовлетворению, полученному от объектов, а также благодаря осуществлению идеала.

Одна часть чувства собственной значимости первичная, она представляет собой остаток детского нарцизма, другая часть происходит из подтвержденного опытом всемогущества (осуществления Я-идеала), третья часть — из удовлетворения объектного либидо.

Я-идеал поставил либидинозное удовлетворение от объектов в тяжелые условия, с помощью своего цензора заставляя отказаться от некоторых его форм как от недопустимых. Там, где такой Я-идеал не развился, упомянутое сексуальное стремление входит в состав личности без изменений в виде перверсии. Снова быть своим собственным идеалом даже в отношении сексуальных стремлений, как это было в детстве, — вот чего люди желают добиться как высшего счастья.

Влюбленность состоит в перетекании либидо Я на объект. Она обладает достаточной силой, чтобы устранить вытеснения и восстановить перверсии. Она возвышает сексуальный объект до сексуального идеала. Поскольку она происходит по объектному типу или типу примыкания на основе исполнения инфантильных условий любви, можно сказать: то, что отвечает этим условиям любви, идеализируется.

Сексуальный идеал может вступать с Я-идеалом в любопытные отношения взаимопомощи. Там, где нарциссическое удовлетворение наталкивается на реальные препятствия, сексуальный идеал может использоваться для получения эрзацудовлетворения. В таком случае человек по типу нарциссического выбора объекта любит то, чем он был и чего лишился, или то, что обладает достоинствами, которыми он вообще не обладает. Формула, соответствующая предыдущей, гласит: человек любит то, чего не хватает Я для достижения идеала. Этот случай поддержки имеет особое значение для невротика, Я которого оскудевает из-за чрезмерных объектных ка-

тексисов и не в состоянии осуществить свой идеал. В таком случае от расточительного расходования своего либидо на объекты он хочет вернуться к нарцизму, выбирая себе сексуальный идеал по нарциссическому типу, который обладает недостижимыми для него достоинствами. Это и есть исцеление через любовь, которое он, как правило, предпочитает аналитическому. Более того, он не может поверить в другой механизм исцеления, с ожиданием этого он приступает к лечению и направляет это свое ожидание на персону лечащего его врача. Разумеется, этому плану исцеления препятствует неспособность больного любить вследствие его обширных вытеснений. Если в процессе лечения ему удалось оказать определенную помощь, то зачастую за этим следует непредвиденный результат — больной отказывается от дальнейшего лечения для того, чтобы сделать выбор в любви и доверить дальнейшее выздоровление совместной жизни с любимым человеком. Таким исходом можно было бы удовлетвориться, не будь он чреват всеми опасностями тягостной зависимости от этого помощника в беде.

От Я-идеала важный путь ведет к пониманию психологии масс. Этот идеал, помимо индивидуального, имеет и социальный компонент, он также является общим идеалом семьи, сословия, нации. Кроме нарциссического либидо, он связал также большое количество гомосексуального либидо человека[1], которое таким способом возвращается в Я. Неудовлетворенность из-за неосуществления этого идеала высвобождает гомосексуальное либидо, которое превращается в сознание вины (социальный страх). Сознание вины было первоначально страхом перед родительским наказанием, точнее сказать: перед утратой их любви; место родителей позднее заняла неопределенная масса товарищей. Таким образом, становится более понятным частое возникновение паранойи вследствие обиды, переживаемой Я, невозможности удовлетворения в сфере Я-идеала, а также совпадение образования идеала и сублимации в идеале Я, прекращение сублимации и возможное преобразование идеалов при парафренических заболеваниях.

[1] Значение гомосексуальности для организации групп отмечалось еще в работе «Тотем и табу» (1912–1913). Фрейд также указывает на него в «Психологии масс» (1921).

ПЕЧАЛЬ И МЕЛАНХОЛИЯ (1917 [1915])

После того как сновидение послужило нам нормальным образцом нарциссических душевных расстройств, мы попытаемся прояснить сущность меланхолии, сравнив ее с обычным аффектом печали. Но на этот раз нам надо заранее сделать признание, которое должно предостеречь от переоценки результата. Меланхолия, понятийное определение которой шатко также и в описательной психиатрии, встречается в разнообразных клинических формах, объединение которых в единое целое представляется необоснованным, а некоторые из них напоминают скорее соматические, нежели психогенные поражения. Помимо впечатлений, имеющихся в распоряжении любого наблюдателя, наш материал ограничивается небольшим числом случаев, психогенная природа которых не подлежит никакому сомнению. Таким образом, мы с самого начала отказываемся от притязаний на всеобщее значение наших результатов и утешаем себя тем соображением, что с помощью своих нынешних средств исследования мы вряд ли можем обнаружить что-нибудь, что было бы *нетипично* — если не для всего класса поражений, то, по крайней мере, для небольшой группы.

Сопоставление меланхолии и печали представляется обоснованным в связи с общей картиной обоих состояний[1]. Поводы к их возникновению под влиянием жизненных обстоятельств — там, где они вообще ясны — тоже совпадают. Печаль — это, как правило, реакция на потерю любимого человека или занявшей его место абстракции, как-то: родины, свободы, идеала и т. д. При одинаковых воздействиях у иных людей, которых мы поэтому подозреваем в предрасположен-

---

[1] Также и Абрахам, которому мы обязаны самым важным из немногочисленных аналитических исследований этого предмета, исходил из этого сравнения (1912). Сам Фрейд рассматривал эту связь еще в 1910 году и даже раньше.

ности к болезни, вместо печали проявляется меланхолия. Примечательно также и то, что нам никогда не приходит в голову рассматривать печаль как болезненное состояние и обращаться к врачу за помощью, хотя она сопровождается серьезными отклонениями от обычного образа жизни. Мы уповаем на то, что через какое-то время сумеем ее преодолеть, и считаем, что беспокоиться из-за этого нецелесообразно и даже вредно.

В психическом отношении меланхолия отличается очень болезненным дурным настроением, потерей интереса к внешнему миру, утратой способности любить, торможением всякой дееспособности и снижением чувства собственной значимости, которое выражается в самообвинениях, самобичеваниях, усиливающихся до бредового ожидания кары. Эта картина станет для нас более понятной, если учесть, что печаль обнаруживает точно такие же черты, кроме единственной; нарушения чувства собственной значимости при ней не возникает. В остальном это то же самое. Тяжелая печаль, реакция на утрату любимого человека, содержит упомянутое болезненное настроение, потерю интереса к внешнему миру (поскольку он не напоминает об умершем), потерю способности выбрать какой-либо новый объект любви (что означало бы замену оплакиваемого), отход от всякой деятельности, которая не связана с памятью об умершем. Нетрудно понять, что это торможение и ограничение Я являются выражением исключительного проявления печали, при этом для других намерений и интересов ничего больше не остается. Собственно говоря, такое поведение не кажется нам патологическим только потому, что мы очень хорошо знаем, как его объяснить.

Мы также одобрим такое сравнение, где печальное настроение называется «болезненным». Его правомерность, вероятно, станет для нас очевидной, если мы сумеем охарактеризовать боль экономически.

В чем состоит работа, которую совершает печаль? Я думаю, что не будет никакой натяжки, если изобразить ее следующим образом. Проверка реальностью показала, что любимого объекта больше не существует, и теперь требуется отвлечь все либидо от связей с этим объектом. В ответ на это возникает понятное сопротивление — очень часто приходится наблюдать, что человек неохотно покидает позицию либидо даже тогда, когда уже маячит замена. Это сопротивление

может быть таким интенсивным, что происходит отход от реальности, и объект удерживается с помощью галлюцинаторного психоза-желания. Нормой же является то, что победу одерживает принятие реальности. Однако он не может выполнить свою задачу сразу. Он осуществляется в каждом отдельном случае с большими затратами времени и катектической энергии, при этом утраченный объект продолжает существовать психически. Каждое отдельное воспоминание или ожидание, в которых либидо было привязано к объекту, ослабевает, катектируется по-другому, и в нем происходит растворение либидо[1]. Почему этот компромиссный результат осуществления принципа реальности так болезнен, экономически обосновать совсем не просто. Примечательно, что это болезненное неудовольствие кажется нам совершенно естественным. Фактически же по завершении работы печали Я снова становится свободным и ничем не стесненным.

Применим теперь к меланхолии то, что мы узнали о печали. В ряде случаев очевидно, что она тоже может быть реакцией на утрату любимого объекта; при иных поводах можно обнаружить, что утрата носит, скорее, воображаемый характер. Допустим, объект не умер реально, но он потерян как объект любви (например, в случае покинутой невесты). В других случаях человек считает, что нужно признать такую утрату, но не может ясно понять, что было утрачено, и тем скорее можно предположить, что и больной тоже не может осознать, что же именно он потерял. Более того, такой случай возможен также тогда, когда утрата, послужившая причиной меланхолии, известна больному, когда он знает, *кого*, но не знает, *что* он при этом потерял. Таким образом, напрашивается мысль так или иначе связать меланхолию с недоступной сознанию утратой объекта в отличие от печали, при которой в утрате ничего неосознанного нет.

Мы обнаружили, что при печали заторможенность и безразличие полностью объясняются работой печали, которая поглощает Я. Сходная внутренняя работа будет также следствием неизвестной утраты при меланхолии, и именно ею объясняется присущая меланхолии заторможенность. Меланхолическая заторможенность производит на нас впечатление

[1] Это представление, похоже, встречается еще в «Этюдах об истерии» (1895): процесс, аналогичный вышеизложенному, описывается в начале «Эпикриза» случая “Фрейлин Элизабет фон Р.”».

таинственности лишь потому, что мы не можем понять, чем же настолько поглощены больные. Меланхолик демонстрирует нам еще нечто такое, чего нет при печали, — необычайное принижение чувства своего Я, грандиозное оскудение Я. При печали мир становится пустым и жалким, при меланхолии таким бывает само Я. Больной характеризует свое Я как недостойное, недееспособное и морально предосудительное, он упрекает, ругает себя и ожидает изгнания и наказания. Он унижается перед любым человеком, жалеет всех своих близких за то, что они связаны с таким недостойным человеком, как он. У него нет суждения о перемене, которая с ним произошла, и он распространяет свою самокритику на прошлое; он утверждает, что лучше никогда и не было. Картина такой — преимущественно моральной — мании уничижения дополняется бессонницей, отказом от пищи и в высшей степени удивительным в психологическом смысле преодолением влечения, которое заставляет все живое держаться за жизнь.

Было бы бесполезно с позиций науки, да и терапии противоречить больному, предъявляющему такие обвинения против своего Я. Должно быть, он в чем-то прав и описывает нечто, что ведет себя так, как ему кажется. Ведь с некоторыми его словами нам приходится сразу же безоговорочно согласиться. Он действительно так безучастен, так неспособен к любви и к работе, как говорит. Но, как мы знаем, это вторичный феномен, следствие внутренней, неизвестной нам, сопоставимой с печалью работы, изнуряющей его Я. В случае некоторых других самообвинений он тоже нам кажется правым и просто острее других, не подверженных меланхолии, понимающим истину. Когда он с усилившейся самокритикой изображает себя ничтожным, эгоистичным, неискренним, несамостоятельным человеком, который всегда стремился только к тому, чтобы скрыть слабости своего существа, он, пожалуй, достаточно близок к тому, что нам известно о самопознании, и мы лишь спрашиваем себя, почему нужно сначала заболеть, чтобы дойти до этой истины. Ведь не вызывает сомнения, что тот, кто пришел к подобной самооценке и высказывает ее перед другими — оценке, подобной той, что держит наготове для себя и для других принц Гамлет[1], — тот болен,

[1] *«Use every man after his desert, and — who shall scape whipping?»* («Гамлет», акт II, 2-я сцена). [«Если с каждым обходиться по заслугам, кто уйдет от порки?» (Пер. Б. Пастернака). — *Примечание переводчика.*]

независимо от того, говорит он правду или в той или иной мере несправедлив по отношению к себе. Нетрудно также заметить, что между степенью самоуничижения и его реальными основаниями, по нашему мнению, нет соответствия. Прежде порядочная, трудолюбивая и верная своему долгу жена при меланхолии будет говорить о себе не лучше, чем и в самом деле никчемная; более того, у первой, возможно, даже больше шансов заболеть меланхолией, чем у второй, о которой и мы тоже не могли бы сказать ничего хорошего. В конце концов, наше внимание должно привлечь то, что меланхолик ведет себя не совсем так, как обычный человек, терзаемый раскаянием и самообвинениями. У него нет стыда перед другими, который прежде всего характеризовал бы это последнее состояние, или по меньшей мере он проявляется не столь явно. У меланхолика можно было бы выделить чуть ли не противоположную черту — назойливую общительность, которая находит удовлетворение в компрометации таким человеком себя самого.

Следовательно, не важно, прав ли меланхолик в своем болезненном самоуничижении, когда эта критика совпадает с оценкой других. Видимо, речь скорее идет о том, что он верно описывает свою психологическую ситуацию. Он утратил уважение к самому себе и, должно быть, небезосновательно. Но тогда мы оказываемся перед противоречием, которое загадывает нам трудноразрешимую загадку. По аналогии с печалью нам пришлось сделать вывод, что он потерял объект; из его высказываний следует, что речь идет о потере своего Я.

Прежде чем заняться этим противоречием, остановимся ненадолго на понимании конституции человеческого Я в том виде, как она проявляется в болезненном состоянии меланхолика. Мы увидим, как одна часть его Я противопоставляется другой, критически ее оценивает, превращает, так сказать, в объект. Все последующие наблюдения подтверждают наше подозрение, что отколовшаяся здесь от Я критикующая инстанция может проявить свою самостоятельность и при других обстоятельствах. Мы и впрямь найдем основание отделить эту инстанцию от остального Я. То, с чем мы здесь столкнулись, есть инстанция, обычно называемая *совестью*; мы причислим ее, вместе с цензурой сознания и проверкой реальностью, к важнейшим институтам Я и где-нибудь также найдем доказательства того, что она может заболеть сама по

себе. Картина болезни при меланхолии характеризуется прежде всего моральным недовольством собственным Я в сравнении с другими замечаниями: физические недостатки, уродство, бессилие, социальная неполноценность значительно реже становятся предметом самооценки; лишь обнищание занимает привилегированное место среди опасений и утверждений больного.

Далее к разъяснению ранее указанного противоречия приводит наблюдение, которое совсем не трудно сделать. Если терпеливо выслушивать разнообразные самообвинения меланхолика, то в конце концов невозможно отделаться от впечатления, что зачастую самые сильные среди них очень мало относятся к его собственной персоне, но с незначительными изменениями применимы к другому человеку, которого больной любит, любил или должен был бы любить. Всякий раз, когда изучаешь положение дел, это предположение подтверждается. Таким образом, ключ к пониманию картины болезни появляется только в том случае, если самообвинения трактовать как упреки в адрес объекта любви, которые перекладываются с него на собственное Я.

Жена, вслух жалеющая своего мужа за то, что он связался с такой нерадивой женщиной, желает, собственно говоря, обвинить в нерадивости мужа, что бы под этим ни подразумевалось. Не следует слишком удивляться тому, что некоторые настоящие самообвинения вкраплены в обвинения, бьющие рикошетом; они могут пробиваться вперед, потому что способствуют маскировке других и препятствуют пониманию действительного положения вещей, ведь они происходят из «за» и «против» в любовной ссоре, приведшей к утрате любви. Также и поведение больных становится теперь намного понятнее. Их *жалобы* [Klagen] — это *обвинения* [Anklagen], в соответствии со старым значением слова[1]; они не стыдятся и не скрываются, потому что все уничижительное, сказанное ими про себя, в сущности, относится к кому-то другому; и они далеки от того, чтобы проявлять перед своим окружением смирение и покорность, которые подобали бы таким недостойным особам. Скорее, они в высшей степени мучительны, всегда как будто обижены и словно столкнулись с огромной

---

[1] В немецком языке оба эти слова однокоренные. — *Примечание переводчика.*

несправедливостью. Все это возможно лишь потому, что реакции в их поведении по-прежнему исходят из душевной констелляции сопротивления, которая затем в результате определенного процесса была преобразована в меланхолическую подавленность.

В таком случае не составит труда реконструировать этот процесс. Произошел выбор объекта, либидо было связано с определенным человеком; под влиянием *реальной обиды или разочарования* со стороны любимого человека это отношение к объекту было поколеблено. Результатом стало не нормальное отвлечение либидо от этого объекта и его смещение на новый объект, а нечто иное, по-видимому, требующее нескольких условий для своего осуществления. Катексис объекта оказался не очень устойчивым, он прекратился, но свободное либидо не сместилось на другой объект, а вернулось в Я. Но там оно не нашло никакого применения, а служило только *идентификации* Я с потерянным объектом. Тень объекта упала таким образом на Я, которое могло быть теперь оценено особой[1] инстанцией как объект, как покинутый объект. Таким образом утрата объекта превратилась в утрату Я, а конфликт между Я и любимым человеком — в раздор между критикой, направленной на Я, и Я, изменившимся вследствие идентификации.

О некоторых предпосылках и результатах такого процесса можно догадаться сразу. С одной стороны, должна существовать сильная фиксация на объекте любви, но с другой стороны, в противоречии с этим — низкая сопротивляемость объектного катексиса. Это противоречие, по меткому замечанию О. Ранка, по-видимому, требует того, чтобы выбор объекта происходил на нарциссической основе, а потому объектный катексис, когда возникают препятствия, может регрессировать к нарцизму. В таком случае нарциссическая идентификация с объектом становится заменой любовного катексиса, и в результате этого любовные отношения, несмотря на конфликт с любимым человеком, не нужно прекращать. Такая замена объектной любви идентификацией — важный механизм при нарциссических заболеваниях; недавно К. Ландауэр (1914) сумел его обнаружить в процессе лечения одного случая шизофрении. Он, разумеется, соответствует *регрессии* от некото-

[1] В первом издании (1917) это слово отсутствовало.

рого типа выбора объекта к первоначальному нарцизму. В другом месте мы показали, что идентификация — это предварительная ступень выбора объекта и первый, амбивалентный в своем выражении, способ выделения объекта со стороны Я. Ему хотелось бы поглотить этот объект, а именно в соответствии с оральной или каннибальской фазой развития либидо, путем пожирания. К этой взаимосвязи Абрахам, пожалуй, по праву сводит отказ от приема пищи, который встречается в тяжелой форме меланхолического состояния[1].

Напрашивающийся вывод из теории, согласно которому предрасположенность к меланхолическому заболеванию или его части объясняется преобладанием нарциссического типа выбора объекта, к сожалению, пока еще не подтвержден исследованием. В начале данной статьи я признал, что эмпирический материал, на котором строится это исследование, не соответствует нашим требованиям. Если бы мы сочли, что наблюдения согласуются с нашими выводами, то регрессию от объектного катексиса к нарциссической оральной фазе либидо, не колеблясь, отнесли бы к характеристике меланхолии. Идентификации с объектом отнюдь не редки и при неврозах переноса; более того, это известный механизм симптомообразования, особенно при истерии. Но мы можем усмотреть различие между нарциссической и истерической идентификацией в том, что в первом случае объектный катексис ликвидируется, тогда как во втором случае он сохраняется и оказывает влияние, которое обычно ограничивается отдельными действиями и иннервациями. Все-таки также и при неврозах переноса идентификация есть выражение общности, которая может означать любовь. Нарциссическая идентификация — более ранняя, и она открывает нам доступ к пониманию не столь хорошо изученной истерической идентификации[2].

Таким образом, меланхолия заимствует одну часть своих свойств у печали, а другую часть — у процесса регрессии от нарциссического выбора объекта к нарцизму. С одной стороны, как и печаль, она представляет собой реакцию на ре-

[1] Абрахам первым обратил внимание Фрейда на эту гипотезу в своем письме от 31 марта 1915 года. (Ср. Freud, 1965, S. 208.)

[2] Общая тема идентификации еще раз рассматривается Фрейдом в главе 7 «Психологии масс» (1921). Ранее истерическая идентификация обсуждалась в «Толковании сновидений» (1900).

альную утрату объекта любви, но, с другой стороны, она обременена таким условием, которого нет при нормальной печали или которое — если оно добавляется — превращает ее в патологическую. Утрата объекта любви — прекрасный повод для того, чтобы выявить и показать амбивалентность любовных отношений[1]. Там, где есть предрасположенность к неврозу навязчивых состояний, конфликт амбивалентности придает печали патологическую форму и заставляет ее выражаться в виде самообвинений: ты сам повинен в утрате объекта любви, то есть хотел этого. На примере таких депрессий при неврозе навязчивых состояний после смерти любимого человека мы видим, к чему приводит сам по себе конфликт амбивалентности, если при этом не происходит регрессивного изъятия либидо. Поводы к меланхолии чаще всего не ограничиваются ясным случаем потери вследствие смерти и охватывают все ситуации обиды, пренебрежения и разочарования, из-за которых может быть привнесено в отношения противоречие между любовью и ненавистью или усилиться существующая амбивалентность. Этому конфликту амбивалентности, то скорее реального, то скорее конститутивного происхождения, нельзя не придавать значения как одной из предпосылок развития меланхолии. Если любовь к объекту, от которой нельзя отречься, тогда как сам объект потерян, нашла спасение в нарциссической идентификации, то по отношению к этому эрзац-объекту проявляется ненависть — его бранят, унижают, заставляют страдать и получают от этого страдания садистское удовлетворение. Несомненно, доставляющее удовольствие самоистязание при меланхолии означает, как и соответствующий феномен при неврозе навязчивых состояний, удовлетворение садистских тенденций и тенденций к ненависти[2], которые были направлены на объект и на этом пути обратились против собственной персоны. При обоих поражениях больным обычно все еще удается окольным путем через самонаказание отомстить первоначальным объектам и мучить своих любимых через посредство болезненного состояния, после того как они впали в болезнь, чтобы избавиться от необходимости показывать им свою враждебность непосредственно. Человека, который вызвал у больного расстройство

[1] Значительная часть того, о чем здесь идет речь, подробно обсуждается в главе 5 работы «Я и Оно» (1923).

[2] Об их различии см. статью «Влечения и их судьбы» (1915).

чувств и на которого направлено его болезненное состояние, обычно следует искать в ближайшем окружении больного. Таким образом, любовный катексис меланхолика, направленный на его объект, постигла двоякая участь; одной частью он регрессировал к идентификации, а другая его часть под влиянием конфликта амбивалентности была возвращена на более близкую ему ступень садизма.

Только этот садизм позволяет нам раскрыть загадку склонности к самоубийству, из-за которой меланхолия становится столь интересной и столь опасной. В качестве первичного состояния, из которого происходит жизнь влечений, мы выявили столь грандиозную любовь Я к себе, а в страхе, возникающем при угрозе жизни, освобождается такое огромное количество нарциссического либидо, что мы не можем понять, каким образом это Я может согласиться на самоуничтожение. Хотя нам давно известно, что ни один невротик, который не обращает на себя импульс к убийству другого, не испытывает намерений самоубийства, оставалось непонятным, вследствие взаимодействия каких сил этот импульс может осуществиться на деле. Анализ же меланхолии показывает, что Я может убить себя только тогда, когда в результате возвращения объектного катексиса оно может обращаться с собой как с объектом, когда оно может направить на себя враждебность, относящуюся к объекту и представляющую собой первоначальную реакцию Я на объекты внешнего мира. (См. «Влечения и их судьбы».) Так, хотя при регрессии от нарциссического выбора объекта этот объект был устранен, он оказался сильнее, чем само Я. В двух противоположных ситуациях — сильнейшей влюбленности и самоубийства — объект одолевает Я, пусть даже и совершенно разными способами[1].

В таком случае напрашивается еще мысль вывести одну бросающуюся в глаза особенность меланхолии — возникновение страха обнищания — из вырванной из своих взаимосвязей и регрессивно преобразованной анальной эротики.

Меланхолия ставит перед нами и другие вопросы, ответы на которые от нас отчасти ускользают. То, что по прошествии определенного времени она проходит, не оставляя после себя явно выраженных сильных изменений, — это свойство она

[1] Последующие рассуждения на тему самоубийства содержатся в работе «Я и Оно» (1923), глава 5, а также на последних страницах статьи «Экономическая проблема мазохизма» (1924).

разделяет с печалью. Там мы выявили, что для тщательного осуществления требования проверки реальностью необходимо время, и после этой работы Я высвобождает свое либидо от утраченного объекта. Мы можем предположить, что в период меланхолии Я занимается аналогичной работой; экономическое понимание хода событий как здесь, так и там, отсутствует. Бессонница при меланхолии, пожалуй, доказывает закостенелость состояния, невозможность осуществить необходимое для наступления сна общее изъятие катексисов. Меланхолический комплекс ведет себя, как открытая рана, со всех сторон притягивает к себе катектическую энергию (которую в случае неврозов переноса мы называем «контркатексисы») и опустошает Я до полного оскудения[1]; он может легко сопротивляться желанию Я спать. Вероятно, в регулярном ослаблении состояния в вечернее время проявляется соматическое, психогенно не объяснимое обстоятельство. К этим рассуждениям добавляется вопрос, достаточно ли утраты Я без внимания к объекту (чисто нарциссической обиды Я), чтобы создать картину меланхолии, и не может ли непосредственное токсическое оскудение либидо Я приводить к известным формам заболевания.

Самая необычная и наиболее нуждающаяся в объяснении особенность меланхолии состоит в ее склонности превращаться в симптоматически противоположное состояние мании. Как известно, не всякую меланхолию постигает такая участь. Некоторые случаи протекают с периодическими рецидивами, в интервалах между которыми можно выявить разве что весьма незначительный оттенок мании, либо его нет вообще. В других случаях происходит то постоянное чередование меланхолических и маниакальных фаз, которое нашло выражение в циклическом помешательстве. Эти случаи, наверное, можно было бы не подвергать психогенному объяснению, если бы благодаря психоаналитической работе не удавалось устранить многие такие заболевания посредством терапевтического воздействия. Таким образом, не только позволительно, но и даже необходимо распространить аналитическое объяснение меланхолии также и на манию.

[1] Это сравнение с открытой раной (проиллюстрированное двумя рисунками) содержится уже в весьма сложном для понимания разделе VI ранних заметок Фрейда о меланхолии (Freud, 1950, рукопись «G», написанная предположительно в январе 1895 года).

Не могу обещать, что эта попытка окажется полностью удовлетворительной. Речь идет, скорее, не более чем о возможности некоторой первой ориентации. Здесь в нашем распоряжении две отправные точки, первая — психоаналитическое впечатление, вторая — можно, пожалуй, сказать: общий экономический опыт. Впечатление, о котором уже говорили многие исследователи-психоаналитики, состоит в том, что содержание мании ничем не отличается от содержания меланхолии, что оба болезненных состояния борются с одним и тем же «комплексом», которому при меланхолии Я, вероятно, уступает, тогда как при мании Я преодолевает его или отодвигает в сторону. Опыт дает нам другую точку опоры: во всех состояниях радости, восторга, триумфа, которые демонстрирует нам обычная картина мании, можно распознать ту же самую экономическую обусловленность. Речь здесь идет о воздействии, в результате которого большие, долго сохранявшиеся или ставшие привычными психические затраты в конце концов оказываются излишними и поэтому готовыми к разнообразному применению и к отводу. Например: когда какой-нибудь бедняк, выиграв большую сумму денег, внезапно избавляется от хронической заботы о хлебе насущном, когда продолжительная и тяжелая борьба в конце концов заканчивается успехом, когда человек становится способным одним махом покончить с гнетущей нуждой, долго продолжавшимся лицемерием и т. п. Все подобные ситуации отличаются приподнятым настроением, признаками отвода радостного аффекта и повышенной готовностью к разного рода действиям, совсем как при мании и в полную противоположность депрессии и заторможенности при меланхолии. Можно рискнуть сказать, что мания есть не что иное, как такой триумф, разве что от Я опять-таки остается скрытым то, что оно сумело преодолеть и из-за чего оно торжествует. Видимо, алкогольное опьянение, относящееся к этому же ряду состояний — поскольку оно характеризуется весельем — можно объяснить себе точно так же; речь здесь, вероятно, идет о достигнутом токсическим способом устранении затрат на вытеснение. Неспециалист охотно сочтет, что в таком маниакальном настроении человек так подвижен и предприимчив потому, что он «в таком хорошем настроении». Разумеется, эту ошибочную связь следует исключить. Просто было выполнено то упомянутое экономическое условие в душевной

жизни, и поэтому человек, с одной стороны, пребывает в столь веселом настроении, а с другой стороны, ничем не стеснен в поступках.

Если объединить оба признака[1], то получим: при мании Я должно было преодолеть утрату объекта (или печаль по утрате, или сам объект) и теперь получило в свое распоряжение все сумму контркатексиса, который болезненное страдание при меланхолии перенесло с Я на себя и связало. Несомненно, человек, одержимый манией, тоже демонстрирует нам свое освобождение от объекта, от которого он страдал, набрасываясь, словно изголодавшийся, на новые объектные катексисы.

Это объяснение звучит убедительно, но, во-первых, оно еще слишком неопределенное, а во-вторых, вызывает больше новых вопросов и сомнений, чем мы можем разрешить. Мы не будем уклоняться от их обсуждения, даже если не можем надеяться с его помощью внести ясность.

Во-первых: нормальная печаль тоже преодолевает утрату объекта и, пока существует, точно так же абсорбирует всю энергию Я. Почему при ней экономическое условие для фазы триумфа по ее истечении не воспроизводится хотя бы в виде намека? Я считаю невозможным ответить на это возражение сразу. Оно обращает наше внимание на то, что мы не можем даже сказать, какими экономическими средствами печаль решает свою задачу; но здесь, возможно, поможет одна догадка. По каждому отдельному воспоминанию и по каждой ситуации ожидания, свидетельствующим о том, что либидо привязано к утраченному объекту, реальность выносит свой вердикт: объект больше не существует, а Я, словно поставленное перед вопросом, хочет ли оно разделить эту участь, благодаря сумме нарциссических удовлетворений решает «остаться в живых» и расторгнуть свою связь с пропавшим объектом. Можно представить себе, что это расторжение происходит настолько медленно и постепенно, что по окончании работы необходимые для него затраты рассредоточены[2].

---

[1] «Психоаналитическое впечатление» и «общий экономический опыт».

[2] До сих пор экономическая точка зрения в психоаналитических работах почти не учитывалась. В качестве исключения следует выделить статью В. Тауска «Обесценивание мотива вытеснения вследствие компенсации» (1913).

Заманчиво начать искать путь к описанию меланхолической работы исходя из предположения о работе печали. Здесь нам в первую очередь мешает неуверенность. До сих пор мы пока еще не учитывали топическую точку зрения и не затрагивали вопроса о том, в каких психических системах и между какими системами совершается работа меланхолии. Какие психические процессы заболевания продолжают разыгрываться после устранения бессознательных объектных катексисов, а какие — после их замены идентификацией в Я?

Можно быстро сказать и легко написать, что «либидо покидает бессознательное (вещное) представление[1] объекта». Но на самом деле это представление основывается на бесчисленных отдельных впечатлениях (их бессознательных следах), и истечение этого либидо не может быть кратковременным процессом — это, несомненно, процесс длительный, постепенно развивающийся, как при печали. Начинается ли он во многих местах одновременно или имеет какую-то четкую последовательность, определить непросто; при анализе часто можно установить, что активировано то одно, то другое воспоминание, а у одинаково звучащих, утомляющих своей монотонностью жалоб все-таки каждый раз находится новое бессознательное обоснование. Если объект не имеет для Я такого большого значения, подкрепленного тысячекратными связями, то и его утрата не может стать причиной печали или меланхолии. Таким образом, свойство отдельных проявлений отслаивания либидо в равной мере можно приписать и меланхолии, и печали; вероятно, оно основывается на одинаковых экономических отношениях и служит одним и тем же тенденциям.

Но, как мы узнали, содержание меланхолии — нечто большее, нежели обычная печаль. При ней отношение к объекту непростое, оно осложняется конфликтом амбивалентности. Амбивалентность бывает либо конституциональной, то есть присущей всем любовным отношениям этого Я, либо она проистекает именно из тех переживаний, которые приносят с собой угрозу утраты объекта. Поэтому по своим побуждениям меланхолия может значительно выходить за пределы печали, которая, как правило, вызывается только реальной утратой, смертью объекта. Следовательно, при меланхолии ведется

[1] Ср. «Бессознательное» (1915).

множество отдельных поединков за объект, в которых борются друг с другом ненависть и любовь; первая — чтобы избавить либидо от объекта, вторая — чтобы вопреки натиску утвердить позицию либидо. Эти отдельные поединки мы не можем поместить ни в какую другую систему, кроме как в *Бсз,* в царство реальных следов воспоминаний (в противоположность словесным катексисам). Там же совершаются попытки избавления от печали, но в данном случае нет никаких препятствий тому, чтобы эти процессы продолжали следовать обычным путем через предсознание к сознанию. Этот путь закрыт для работы меланхолии, возможно, вследствие множества причин или их взаимодействия. Сама по себе конститутивная амбивалентность относится к вытесненному; травматические переживания, связанные с объектом, возможно, активировали другое вытесненное. Таким образом, все в этих амбивалентных поединках исключено из сознания, пока не наступает характерный для меланхолии исход. Он, как мы знаем, заключается в том, что находившийся под угрозой катексис либидо в конце концов покидает объект, но только затем, чтобы вернуться на место Я, из которого он исходил. Таким образом, благодаря своему бегству в Я любовь избежала уничтожения. После этой регрессии либидо процесс может стать осознанным и репрезентируется сознанию как конфликт между частью Я и критической инстанцией.

Таким образом, то, что сознание узнает о работе меланхолии, не составляет ее существенную часть, не является также и тем, что, по нашему мнению, может повлиять на избавление от недуга. Мы видим, что Я унижает себя и проявляет ярость по отношению к себе, и так же мало, как и больной, понимаем, к чему это может привести и как это можно изменить. Такую заслугу мы можем скорее приписать бессознательной части работы, поскольку между работой меланхолии и работой печали нетрудно увидеть важную аналогию. Подобно тому, как печаль побуждает Я отказаться от объекта, объявляя объект мертвым и предлагая Я в виде награды остаться в живых, точно так же каждый отдельный конфликт амбивалентности ослабляет фиксацию либидо на объекте, обесценивая его и унижая, словно убивая. Есть вероятность того, что процесс заканчивается в *Бсз*, будь то после того, как улеглась ярость, или после того, как объект оказался отвергнутым как не имеющий ценности. Мы не знаем, какая из двух

этих возможностей постоянно или преимущественно ведет к исчезновению меланхолии и как это завершение влияет на дальнейшее течение случая. Возможно, Я при этом наслаждается тем, что может признать себя лучшим, превосходящим объект.

Даже если бы мы допустили такое понимание работы меланхолии, оно все же не может дать нам того, ради чего мы предприняли ее объяснение. Наши ожидания вывести экономические условия возникновения мании после завершения меланхолии из амбивалентности, которая властвует над этим заболеванием, могли бы опираться на аналогии из различных других областей; но есть один факт, с которым необходимо считаться. Из трех предпосылок меланхолии — утраты объекта, амбивалентности и регрессии либидо в Я — два первых мы вновь обнаруживаем в навязчивых упреках после случаев смерти. Там именно амбивалентность, несомненно, представляет движущую пружину конфликта, и наблюдение показывает, что по его завершении от триумфа, присущего маниакальному настроению, ничего не остается. Поэтому обратимся теперь к третьему моменту как к единственно действенному. То накопление поначалу связанной катектической энергии, которая высвобождается по завершении меланхолической работы и содействует проявлению мании, должно быть связано с регрессией либидо к нарцизму. Конфликт в Я, который меланхолия меняет на борьбу за объект, должен действовать подобно болезненной ране, которая требует чрезвычайно высокого контркатексиса. Но здесь опять-таки будет целесообразно остановиться и отложить дальнейшее объяснение мании до тех пор, пока мы не придем к пониманию экономической природы сначала физической, а затем и аналогичной ей душевной *боли*. Ведь мы уже знаем, что взаимосвязь запутанных душевных проблем заставляет нас прерывать всякое исследование и оставлять его незавершенным, пока на помощь ему не смогут прийти результаты другого исследования[1].

---

[1] *Дополнение, сделанное в 1925 году:* см. дальнейшее обсуждение проблемы мании в работе «Психология масс и анализ Я» (1921).

ЗАМЕТКА О «ЧУДО-БЛОКНОТЕ» (1925 [1924])

Когда я не доверяю своей памяти — как известно, невротики делают это очень часто, но и у нормального человека есть все основания для этого, — то я могу дополнить и обеспечить ее надежную работу, делая пометки в письменном виде. В таком случае поверхность, которая хранит эту запись, доска или лист бумаги, одновременно представляет собой, так сказать, материализованную часть аппарата памяти, который я обычно незримо ношу в себе. Мне надо только отметить для себя место, на котором помещено это зафиксированное таким образом «воспоминание», тогда я могу в любой момент по своему усмотрению «воспроизвести» его, будучи уверенным в том, что оно осталось неизменным, то есть не подверглось искажениям, которые оно, возможно, претерпело бы в моей памяти.

Если я хочу в широких масштабах пользоваться этой техникой для улучшения функции своей памяти, то отмечаю, что в моем распоряжении есть два разных способа. Во-первых, я могу выбрать такую поверхность, которая сохраняет доверенную ей запись в целости и сохранности в течение неопределенно долгого времени, то есть листок бумаги, на котором я пишу чернилами. Тогда я получу «долговечный след воспоминания». Недостаток этого способа заключается в том, что емкость поверхности для записей вскоре исчерпывается. Листок целиком исписан, на нем нет места для новых записей, и я вынужден взять для употребления другой, еще не исписанный лист. Преимущество этого способа, оставляющего «долговечный след», также может потерять для меня свою ценность, а именно если по прошествии какого-то времени у меня пропадет интерес к сделанной записи и я не захочу больше «сохранять ее в памяти». Другой способ избавлен от обоих

этих недостатков. Когда, например, я пишу мелом на аспидной доске, у меня есть некая воспринимающая поверхность, емкость которой сохраняется в течение неограниченно долгого времени, а записи, сделанные на ней, я могу уничтожить, если они меня перестают интересовать, не выбрасывая при этом саму поверхность для записей. Здесь недостаток состоит в том, что я не могу получить долговечный след. Если я захочу сделать на доске новые записи, мне придется стереть те, которые уже на ней находятся. Таким образом, неограниченная емкость и сохранение долговечных следов, по всей видимости, взаимно исключают друг друга в приспособлениях, которыми мы заменяем свою память; мы должны либо обновить воспринимающую поверхность, либо уничтожить запись.

Все вспомогательные приспособления, которые мы изобрели для улучшения или усиления функций своих органов чувств, имеют такое же строение, как и сам орган чувств или его части (очки, фотографическая камера, слуховая трубка и т. д.)[1]. По сравнению с этим вспомогательные приспособления для нашей памяти кажутся особенно несовершенными, ибо наш душевный аппарат делает именно то, чего они сделать не могут; емкость восприятия всего нового у него неограниченна, и вместе с тем он создает долговечные — хотя и не неизменные — следы воспоминаний о них. Еще в «Толковании сновидений» (1900) я высказал предположение, что эту необычную способность можно разделить на работу двух разных систем (органов душевного аппарата)[2]. Я утверждал, что мы обладаем системой *В–Сз*, в которую попадают восприятия, но которая не сохраняет долговечного следа от них и поэтому в отношении нового восприятия может вести себя, как чистый лист бумаги. Долговечные следы воспринятых возбуждений сохраняются в расположенных за ней «системах воспоминания». Позднее («По ту сторону принципа удовольствия» [1920]) я добавил замечание, что необъяснимый феномен сознания возникает в системе восприятия *вместо* долговечных следов.

[1] Далее эта мысль развивается в главе 3 работы «Неудовлетворенность культурой» (1930).

[2] Как упоминает Фрейд в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920), это разделение было сделано еще Брейером в написанной им теоретической части «Этюдов об истерии» (1895).

Не так давно в продажу поступил небольшой прибор под названием *чудо-блокнот*, который имеет больше возможностей, чем лист бумаги или аспидная доска. Вроде бы это не более чем доска для письма, с которой можно удалять записи с помощью удобного приспособления. Но при внимательном изучении в его конструкции можно обнаружить примечательное соответствие с моим предположением о строении нашего аппарата восприятия, и убедиться в том, что он действительно может дать и то, и другое: всегда готовую воспринимающую поверхность и долговечные следы воспринятых записей.

Чудо-блокнот представляет собой окаймленную бумагой пластинку из темно-коричневой содержащей смолу или восковой массы, над которой расположен тонкий просвечивающий лист, прикрепленный к верхнему концу восковой пластинки и свободно прилегающий к нижнему ее концу. Этот лист представляет собой наиболее интересную часть этого небольшого аппарата. Сам он состоит из двух слоев, которые (за исключением двух поперечных краев) могут быть отделены друг от друга. Верхний слой представляет собой прозрачную целлулоидную пластинку, нижний — тонкую, то есть просвечивающую вощеную бумагу. Когда аппарат не используется, задняя поверхность вощеной бумаги слегка прилипает к передней поверхности восковой пластинки.

Этот чудо-блокнот используют, делая запись на целлулоидной пластинке листа, покрывающего вощеную доску. Для этого не нужен карандаш или мел, ибо записывание основано не на том, что материал передается на воспринимающую поверхность. Это возврат к тому способу, которым древние люди писали на глиняных или восковых табличках. Остроконечная палочка — стило —царапает поверхность, углубления на которой составляют «письмо». При пользовании чудо-блокнотом такое насекание происходит не прямо, а через посредство покрывающего его листа. Стило вдавливает заднюю поверхность вощеной бумаги в восковую пластинку в тех местах, с которыми она соприкасается, и эти борозды — надписи темного цвета — становятся видимыми на гладкой в остальных местах, бледно-серой поверхности целлулоида. Чтобы уничтожить запись, достаточно, взявшись за свободный нижний конец, легким движением отделить комбинированный верхний лист от восковой пластинки. Тем самым разрывается плотный контакт между вощеной бумагой и восковой пластинкой

в местах насечек, благодаря которому становилось видимым письмо, и он не восстанавливается даже тогда, когда обе поверхности снова соприкасаются друг с другом. Теперь на чудо-блокноте нет никаких букв, и он готов воспринять новые записи.

Разумеется, некоторые несовершенства прибора не представляют интереса для нас, поскольку мы лишь хотели проследить его приближение к структуре душевного аппарата восприятия.

Если осторожно отделить целлулоидную пластинку от вощеной бумаги, когда на чудо-блокноте есть записи, то письмо так же отчетливо видно на поверхности последней, и может возникнуть вопрос, зачем вообще нужна целлулоидная пластинка. Потом опыт показывает, что тонкая бумага легко собирается в складки или разрывается, если писать с помощью стило прямо на ней. Таким образом, целлулоидная пластинка представляет собой защитную оболочку для вощеной бумаги, которая должна предотвращать вредные воздействия извне. Целлулоид — это «защита от раздражителей»; собственно слой, непосредственно воспринимающий раздражители, — это бумага. Здесь я хочу указать на то, что в работе «По ту сторону принципа удовольствия» я сделал вывод, что наш воспринимающий душевный аппарат состоит из двух слоев — внешней защиты от раздражителей, которая должна снижать величину поступающих возбуждений, и из поверхности, воспринимающей раздражители, системы *В–Сз*.

Эта аналогия не имела бы большой ценности, если бы ее нельзя было проследить далее. Если отделить весь верхний лист — целлулоид и вощеную бумагу — от восковой пластинки, то написанное исчезает и, как уже упоминалось, потом не восстанавливается. На поверхности чудо-блокнота нет никаких записей, и она снова готова к восприятию. Однако легко установить, что сам след от написанного остается на восковой доске и при удобном освещении его можно прочесть. Таким образом, блокнот предоставляет нам не только вновь пригодную к употреблению воспринимающую поверхность, подобно аспидной доске, но и длительные следы написанного, подобно обычному бумажному блокноту; он решает проблему соединения обеих функций, *распределяя их между двумя отдельными, но связанными между собой составными частями — системами*. Но точно так же, согласно моей выше-

упомянутой гипотезе, осуществляет свою функцию восприятия и наш душевный аппарат. Слой, воспринимающий раздражители, — система *В–Сз* — не образует длительных следов; основы воспоминания закладываются в других, примыкающих к нему системах.

При этом нас не должно смущать, что длительные следы воспринятых записей в чудо-блокноте не используются; достаточно того, что они существуют. Ведь аналогия между таким вспомогательным аппаратом и взятым в качестве примера органом должна где-то закончиться. Ведь чудо-блокнот не может также снова «воспроизвести» изнутри стертую когда-то запись; иначе это был бы действительно чудо-блокнот, если бы он мог осуществлять это так, как наша память. Тем не менее теперь мне не кажется слишком смелым сравнение верхнего листа, состоящего из целлулоида и вощеной бумаги, с системой *В–Сз* и ее функцией защиты от раздражителей, находящейся на ней восковой пластинки — с бессознательным, проявления того, что написано, и его исчезновения — со вспышкой и исчезновением сознания при восприятии. Признаюсь, однако, что я склонен продолжить это сравнение.

При пользовании чудо-блокнотом написанное исчезает всякий раз, когда прекращается плотный контакт между бумагой, воспринимающей раздражитель, и восковой пластинкой, сохраняющей отпечаток. Это совпадает с представлением, которое я уже давно составил о принципе действия воспринимающего душевного аппарата, но о котором я до сих пор умалчивал[1]. Я предположил, что катектические иннервации быстрыми периодическими толчками посылаются изнутри в полностью проницаемую систему *В–Сз* и снова отводятся обратно. До тех пор, пока система катектируется таким образом, она получает сопровождающиеся сознанием восприятия и передает возбуждение дальше в бессознательные системы воспоминания; как только катексис устраняется, сознание угасает, и деятельность системы прекращается[2].

---

[1] Однако Фрейд упоминал это свое представление еще в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Он еще раз излагает его в конце своей статьи «Отрицание» (1925). Однако в зачаточном виде оно уже содержится в «Проекте» 1895 года (1950).

[2] Это созвучно «принципу невозбудимости некатектированных систем», который обсуждается в примечании издателей к метапсихологической работе о сновидениях (1917).

Это похоже на то, как если бы бессознательное посредством системы *В–Сз* протягивало во внешний мир щупальца, которые быстро убираются после того, как они попробовали его возбуждения. Таким образом, прерывания, которые возникают в чудо-блокноте извне, на мой взгляд, происходят из-за дискретности потока иннервации, и вместо действительного прекращения контакта, согласно моей гипотезе, имеет место периодически наступающая невозбудимость системы восприятия. Далее я предположил, что этот прерывный способ работы системы *В–Сз* лежит в основе возникновения представления о времени.

Если вообразить, что в то время как одна рука пишет на поверхности чудо-блокнота, другая периодически отделяет его верхний лист от восковой пластинки, то это будет наглядным изображением того, как я представляю себе функцию нашего воспринимающего душевного аппарата[1].

---

[1] Эта мысль излагается также в эссе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920) и вскользь обозначена в работе «Бессознательное» (1915). Она снова высказывается в статье «Отрицание» (1925), правда, в ней Фрейд приписывает функцию выпускания щупалец инстанции Я.

СОДЕРЖАНИЕ